

ЮРИЙ ЛОЩИЦ



МОИ ДОМАШНИЕ СВЯТЫЕ

ПОВЕСТЬ О ДЕТСКИХ ГОДАХ

ТРИ ФОТОСНИМКА

Семейный альбом мои отец и мама завели, судя по простецкому и тощеватому облику книжки, ещё до войны. В нём сбереглись, несмотря на огнедышащее соседство этой самой войны, несколько фотографий моих дедов и бабушек, маминых сестёр в пору их юности, старшего отцова брата, его жены. Иногда ловлю себя на том, что гляжу на лица тех, кого уже давно нет в живых, с каким-то почти молитвенным чувством. И подступает догадка: тонкое это веяние исходит и передаётся не от меня, но от них самих. Это они смотрят на меня неотрывно, взыскующе, с поистине молитвенной собранностью, будто в силах огородить если не от всех подряд, то хотя бы от самых губительных в будущем нападений.

В такие минуты созерцания заветных душе образов ищущи и всё не находят самые окончательные для них слова. И вдруг, уверяясь вполне в праве на такой порыв, говорю себе: нет, не надо больше никаких определений для них искать, потому что они — *мои домашние святые*.

Скажите мне: не такой ли именно порыв, обращённый к ушедшим от нас родным, присущ тысячам тысяч совершенно неизвестных друг другу людей, не обязательно современников? И кто нас осудит за то? Кто запретит нам раз от раза полниться уверенностью, что святых людей на самом деле на све-

ЛОЩИЦ Юрий Михайлович родился в 1938 году в селе Долинском Одесской области. Окончил филологический факультет МГУ. Автор книг “Сковорода”, “Гончаров”, “Земля-именинница”, “Дмитрий Донской”, “Слушание земли”, “Унион. Проза последних лет”, романа “Полумир” и сборников стихов “Столица полей”, “Больше, чем всё”, “Величие забытых”. Член Союза писателей России. Живёт и работает в Москве.

те пребывает неизмеримо больше, чем записано поимённо в святцах различных вероисповеданий? Кто помешает нам однажды осознать: во глубинах своего смиренного мудрия эти не сосчитанные и не причисленные домашние наши святые оградили себя какого-то особого свойства согласием. Что, если эти тихие души, их круг и подлинное число нужны Сотворшему вся и всех для каких-то совершенно иных заданий и служений, не нуждающихся в снятии с них таинственного покрова?

Не с этим ли честнoсердечием во взоре и ты глядишь на нас, дед мой Фёдор, Феодор Константинович Лошиц, солдатский сын, старший писарь 61-го Владимирского полка, беспорочно отслуживший свой воинский призывной срок на польском западе Русского Царства, в граде Белостоке, при государе императоре Александре III? Это тебе как писарю старшего разряда, безупречно владевшему, при твоём белорусском крестьянском происхождении, письменной и устной русской речью, доверено было ведение всей служебной переписки родного полка, а значит, знание и соблюдение, наравне с командиром части, её военных тайн и архивных секретов. То есть ты, догадываюсь, никак был не чета известному по расхожим сюжетам ротному грамотею-писарчуку, что помогает безграмотным солдатикам составлять письмеца в родные деревни, но вряд ли отказывался при случае и от таких просьб своих однополчан.

И хотя ты перед фотографом уже в гражданском костюме, при светлом цивильном галстуке, но стоишь осанисто, навьютяжку, с бодро закрученными усами, как будто, оклики тебя с улицы воинский горн, ты тотчас прямо из павильона ступишь в строй.

Слева же от тебя не сидит, поистине восседает, — стройна яко свеча, пальцы рук волево собрала в кулачки, покоит их на коленях — супруга твоя верная Татьяна, родившая тебе четверых сыновей, которым и имена при крещении наречены — не осознанно ли? — из царского обихода: Александр (скончался в раннем детстве), Николай, второй Александр, наконец, Михаил, мой отец.

Отец-то мой и вспоминал много-много позже, что, в отличие от мужа своего, родительница в грамоте была не очень успешна. Чтобы хоть как-то управиться с этим изъяном, держала при себе дневничок, заноса в него краткие пометы такого, к примеру, свойства: “Наша Роза атилилас...” Но зато, удивительное дело, она при этом истово певала в сельском церковном хоре. А значит, знала на память десятки урочных тропарей, канонов, стихир, — так что я иногда, думая о её осмысленной певческой памяти, сокрушаюсь: да это как раз мы, в отличие от моей бабушки Тани, то и дело остаёмся, при наших средних и высших образованиях, законченными невеждами.

А справа от неё на том снимке — Максим Степанюк, родитель её сидит, механик фарфоровой фабрики из новоград-вольнской Городницы. Он — единственным из четырёх моих прадедов сохранился до XXI века в фотографическом запечатлении. Будто соотвествуя такой выпавшей ему удаче, глядится молодцом: острый соколиный взгляд из-под картуза с блестящим козырьком, густая тёмная бородка, врзлёт, завитые, как и у зятя Фёдора, усы; опять же и галстук повязан поверх поднятого воротника белой рубахи. Большими натруженными дланями прижимает к себе внука Колю, тоже глядящего перед собой умно и неотрывно, несмотря на пятилетний возраст. Значит, к фотографу ходили, думаю, около 1910 года, поскольку дядя мой Коля родился ещё в 1905-м.

Какая же, однако, матёрая давность! Лишь через четыре года загремят фронты Первой мировой, для них же, кто на снимке, — а теперь снова и для нас! — Отечественной. И лишь через 12 лет после того фотографирования в семье народится последний их по счёту сын.

В начале 1917-го семья жила в Одессе. Почувствовав, что снова в положении, Татьяна Максимовна отправилась на обследование к знакомому врачу. Он напрямую, жёстко отсоветовал рожать, посчитав, что организм её уже не справится с чрезвычайным испытанием. Представляю, как она, чуть отпрянув станом, сжав на дрогнувших коленях пальцы в кулачки, выслушивала приговор себе и плоду своему. Набожная женщина пренебрегла мнением

доктора, решив положитьсь во всём на Господню волю. С врачом этим она снова увиделась лишь после того, как благополучно родила. Столкнувшись с ней в больничном коридоре и заметно смутившись, он развёл руками: “Ну, что же, и мы, врачи, нередко ошибаемся”.

Бабушка Тая запечатлена ещё на одной фотографии. Хотя автор снимка разместил здесь немало народу, узнать её мне не составляет труда. И в пожилом возрасте не изменяет ей статность, с которой она восседает в самой середине композиции. И с неизменным кулачком-щепотью покоится на её колене загорелая левая рука. А правой обнимает за плечико первого своего внука — Колю, Колюнчика, белобрысого и белобрового трёхлетнего мальчика, моего двоюродного брата. Татьяна Максимовна — в центре внимания фотомастера не только по годам своим, но и потому, что это к ней, к её хате на станции Мардаровка, что в ста пятидесяти километрах к северу от Одессы, сегодня отовсюду пришли и приехали родичи и гости.

Справа от неё сидит, важно перекрестив руки на груди, благодушно прищурившись, будто попыхивая в свои вислые усы, второй мой дед, крепко уже лысый Захар Иванович Грабовенко, колхозник из села Фёдоровка, что в четырнадцати километрах от станции. Рядом с ним — Дарья Яковлевна, его супруга, тоже моя бабушка, из того же Фёдоровского колхоза. За ними, во втором ряду, стоят мои родители — улыбающийся отец в белой рубашке, мама, сдержанно-сосредоточенная, в скромном пиджачке, — он и она положили по одной руке на плечи деду Захару, словно прося покровительства, как у самого старшего в родстве мужчины.

А вот деда Фёдора уже почти десять лет как нет в живых. Будь он здесь, родители мои, думаю, именно ему положили бы руки на плечи в старинном крестьянском жесте особого почитания.

Но ещё не всех я назвал. Вот и тётя Нина стоит за спиной у свекрови, молодая, красивая жена папиного старшего брата Николая, который сам по какой-то уважительной, значит, причине в этот час отсутствует. Слева от бабы Тани сидят мамина старшая сестра, тётя Лиза, моя будущая крёстная, и её муж дядя Ефим Куценко. У тёти Лизы на руках пристроилась маленькая бо-соножка Тamarочка, тоже моя двоюродная. И эти трое — из Фёдоровки.

Но где же я-то сам?

А я пока ещё подрёмываю у мамы в мягком и тёплом лоне. Оттого-то она и предпочла укрыться в тени от камеры, её механического глаза — за спиной у бабушки Даши.

Слегка рассеянный свет, благодатный день лета 1938 года. Все одеты празднично, хотя и скромно. У бабушек белые блузы с отложными воротниками поверх тёмных пиджаков, светлые льняные юбки. Лица и руки у взрослых смуглы от рабочего загара.

Похоже, лишь недавно поднялись из-за обеденного стола, вышли из хаты, белеющей у них за спинами, вынесли стулья, табуретки, расселись, доверясь вкусу композитора групповых съёмок.

И опять не всех назвал. Кроме ближней родни ещё вижу наверху и с краю двоих: он — в тёмной фуражке с красной звездой на околыше, в тёмной же гимнастёрке. Может, железнодорожник? Или сотрудник пристанционной почты? А она? О, эта красавица-хохлушка, кажется, напрямик с киноэкрана сюда приплыла — то ли от Довженко, то ли от Пырьева. А если не от них, то к кому-то из них вскоре уплывёт, не вернётся. До чего светлая, лишь не во все ещё зубы, улыбка! Потому что если бы во все, то, как сама догадывается, целое общество сиянием бы своим затмила.

Гляжу на них, и почти невозможно представить, что ещё несколько лет назад они пухли от голода, радовались, как манне небесной, похлёбке из лебеды, лакомством считали отломок жмыха размером в детскую ладонь...

Но сегодня для них — добрый, кружащий головы вдох-выдох самой жизни. И такой неколебимой представляется надежда, что “Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее...”

А что же, разве не так? Мама моя, закончив Балтский педтехникум, уже сама преподаёт в начальных классах большой сельской школы. Там же, в райцентре Валегоцулово, повстречались-полюбили друг другу она и мой

отец. Сам он, когда ещё доучивался в мардаровской семилетке, принят был телеграфистом на почтовое отделение при станции, быстро, на полуголодный живот, освоил азбуку Морзе, чтобы рассылать служебные телеграммы в ту же Одессу, в Раздельную, в Котовск, Тирасполь, по другим железнодорожным узлам и адресам. А теперь, как и юная жена, работает в Валегоцулове, утверждён секретарём редакции районной газеты “Ударник социализма”.

А незадолго до того, как им всем сфотографироваться, в Фёдоровский колхоз, где дед мой Захар Грабовенко трудится на свиноферме, поступило сверху, из областного центра, небывалое распоряжение. Правление “колхоза”* обязано, не мешкая, представить документы на этого своего стахановца производства, поскольку он систематически получает на круг по двадцать одному деловому поросёнку от каждой свиноматки, и, значит, дело подвигается к присвоению ему Героя Социалистического Труда!..

Но пора мне разглядеть, хотя бы бегло, ещё одну фотографию. В ноябре следующего, 1939 года моего отца в числе прочих допризывников вызвали в райвоенкомат села Валегоцулово. Мне на тот час было уже одиннадцать месяцев от роду, и повестка, принесённая на квартирку, которую снимала молодая семья, прилива особой радости у родителей, понимаю, не вызвала. Но отец и так до сих пор пользовался отсрочкой в связи с недомоганиями своей мамы. Послабление со стороны военной инстанции не могло однажды не прерваться. Всего по повесткам на сборпункт явилось двенадцать молодых людей. Видимо, после произнесения строгих инструкций и краткой информации о непростоём международном положении им и было предложено сфотографироваться. Пусть останется у каждого память о почётном и ответственном событии в их жизни — предстоящей службе в рядах доблестной Красной армии. По снимку видно: к дощатой стене сборпункта наскоро прикреплено на двух гвоздиках кумачовое, пусть и без надписей, полотнище. На таком фоне парубков и молодых мужей рассадили и расставили в три неполных ряда.

Держатся все достойно, собранно. Ни усмешки, ни понурости в глазах. Ни показного бахвальства. Впрочем, у двоих в углах рта белеют нераскуренные папиросы. Это от волнения, или чтобы казаться старше иных? У меня ощущение, что все они выглядят несколько старше своих настоящих лет. Отчего это? Или, как и мой отец, стоящий почти безмятежно вверху крайним слева, большинство призывается позже своих обычных сроков? Или эта их взрослость сиюминутна, как тень, наплывшая без предупреждения из пучины будущего? Как предчувствие переживаний, которые ещё никем на свете не описаны, потому что и не было ни у кого случая подобное разглядеть... Ведь полтора года всего пройдёт, и рухнет на плечи всего их поколения такая напасть, что побледнеют в памяти рассказы старших о революциях, интервенциях, о лютой гражданской. И не таким уж чрезмерным покажется пережитое ими самими при коллективизации, раскулачивании, при испытаниях голодом в тридцатых.

Озадачивает, когда смотрю на них, и то, что ни у кого в глазах не различить даже хмельной искорки. И почему все пришли на сборпункт в каких-то самых ношенных, помятых, будто на выброс приготовленных пиджаках? Почему воротники рубашек у всех застёгнуты, как в армии положено, и на самые верхние, у горла, пуговицы. Как будто ожидают: вот сегодня, прямо отсюда их и повезут.

В последний день ноября 1939 года начались боевые операции на советско-финляндской границе. А на первой неделе декабря мой отец уже отбывал поездом на север, в сторону Ленинграда, в окрестностях которого ему предстояло в запасном артиллерийском полку обучаться навыкам наводчика 152-мм гаубичного орудия. Перед тем, как на станции Мардаровка сесть в свой поезд, он навестил маму и семью брата Николая. Не в тот ли самый день он привёз Татьяне Максимовне маленькую фотокарточку, на которой я был снят в характерной позе голыша, лежащего на животике, но уже умеющего держать голову, уверенно отрывая её от подушки? Бабушка моя Таня была

* Колгосп (коллективне господарство) — колхоз (укр.)

на ту пору настолько изнурена смертельной болезнью, что разговаривала и прощалась с младшим сыном, не пытаясь даже подняться с кровати. Уже уходя, ступив на порог комнаты, он вдруг услышал её слабый вскрик и, обернувшись, увидел: мать всё-таки вставала на ноги в порыве благословить его крестным знамением. Он кинулся к ней, боясь, чтоб не упала.

18 февраля следующего года старший брат отбил в воинскую часть на его имя телеграмму с сообщением, что мать скончалась. Отцу дали кратковременный отпуск. Он успел на скорый “Ленинград — Одесса”. Но в Мардаровке поезд не останавливался. Вспомнив, что за два километра до станции составы начинают затяжной подъём, и в этом месте будет большой откос, отец решил спрыгнуть в снег. Когда выбрался из сугроба у подножия откоса и оглянулся, его поразило, что расстояния между первыми шагами после прыжка были нечеловечески громадными.

Но проститься с телом матери он всё же не успел. Татьяну Максимовну накануне его прибытия схоронили на Перешорском сельском кладбище, рядом с могильными крестами её мужа, Фёдора Константиновича, и сына Александра-второго. Внизу, под кладбищенской горой, будто участвуя в проводах, багровела кирпичными стенами церковь, в которой она лет почти двадцать певала на клиросе и в которой час назад, перед погребением, её отпели.

НА ТЕЛЕГЕ

Но вернусь к декабрю предыдущего года, когда призывник Михаил Лошиц отбыл на воинскую службу. Мы с мамой оставались в Валегоцулове после его отъезда совсем недолго, всего неделю или чуть больше. Да, здесь она родила меня в местной больнице, в одну из самых долгих ночей минувшего 38-го. В той же больнице через несколько недель мне срочно перелили материнскую кровь, когда врач посчитала, что только так меня ещё и можно спасти.

Но жить и работать в общем-то чужом для неё райцентре, без мужа, вдали от многочисленной крестьянской родни маме показалось участью свыше её сил. Начальство из районного отдела народного образования милостиво разрешило ей перевестись учительницей в начальные классы Фёдоровской сельской школы. И вот за нами из своего колхоза невозможно прибыл на телеге дедушка Захар Иванович.

Сколько всем нам приходилось читать или слышать рассказов о самых первых впечатлениях младенческого существа, которые затем уцелевают на всю его жизнь! Где изначальный временной порог, служащий твёрдой опорой для действия детской памяти? В каком возрасте впервые обнаруживаются цепкость, схватливость, способность к долговременному хранению впечатлений, без чего память — звук пустой?

Наверное, всё это — область, в которой чисто научные, вычислительные подходы могут вполне обойтись за счёт собственных средств. Однако почему-то научные подходы не желают обходиться только цифрами, формулами и схемами, но то и дело с любопытством или даже некоторой завистью поглядывают в сторону самого простецкого людского самонаблюдения, которое я для себя называю навыком охранять собственные созерцания.

Поверят мне или нет, но самые первые впечатления из моего младенчества, удержанные памятью на всю жизнь, даже до сих вот минут, когда пишу об этом, приходятся как раз на тот декабрьский день, когда мой дедушка тихим тележным ходом повёз дочь и внука из Валегоцулова к себе домой.

Что-то светлое слабым, едва греющим прикосанием вроде бы зачинаясь в то утро при начале движения, но самочувствие моё при этом было невыразимо ужасным. Маленькое моё нутро почти непрерывно взрывали отвратительные приступы клёкота. И потому всё как-то зыбилось, кувыркалось в слабеньком сознании. Зыбилось и то мягкое, на чём я лежал. И то, что пыталось греть мне лицо откуда-то сверху, но не стояло на месте, а неприятно покачивалось. Да и светило оно совсем невнятно, будто ленясь распахнуть ресницы, свои или мои. Где-то сбоку отступая назад, скучно появлялись

и исчезали ряды строений, и задние глухие стены их почему-то были обмазаны в одинаковый коричневый цвет. (Позже я узнаю, что это была большая молдавская часть села, из которого мы выезжали). Я почти сразу устал смотреть на хаты и отвёл глаза вверх. Небо потряхивалось там, блекло, в каких-то белесых тщедушных комочках ваты, и, кажется, от них истекал неприятный приторный запах лекарства. Смотреть больше ни на что не хотелось.

То мягкое, на чём я лежал, было, понимаю теперь, соломой или сеном, а поверх подстилки ещё что-то мягкое, одеяло или перинка, и сам я был одет-обут во что-то мягкое и тёплое, и рядом, как всегда, сколько я себя знал, была мама, и она старалась, чтобы мне было удобно лежать. Это я чувствовал даже с закрытыми глазами. Но от её стараний, от мягкого, нетрясаемого, но вовсе не убаюкивающего передвижения откуда-то куда-то мне вовсе не делалось лучше, и я не хотел уже, чтобы что-то вокруг непонятно для чего откуда-то куда-то двигалось. Да и зачем нужно было мне на всё вокруг смотреть и что-то пытаться сообразить, если было так плохо? Что-то противное шевелилось у меня внутри, вспухало, мешало дышать. Я пытался удерживать его в себе, но оно от этого только злилось, начинало попискивать, поскуливать, противно ёрзать; оно всё прибывало, прибывало и вдруг — повалило меня набок, сотрясло отвратительным хрипом, кашлем, тошнотворным извержением.

— Плюй... плюй, — всхлипывала мама, накренив меня лицом вниз через край большого, на чём мы с нею лежали.

Мне и самому так хотелось выплюнуть, вывернуть из себя наружу то серое и отвратительное, что продолжало клокотать и надрываться во рту и ещё глубже, в самом нутре жалкого тельшка, но это грязно-серое упрямылось, отпужало с моих губ только липкие, горькие нитки слюны.

Они текли-текли вниз и исчезали между сухих травных кустиков с круглыми светлыми буторками обмерших соцветий. Я вдруг разглядел их с такой пронзительной отчётливостью, которая, кажется, до сей секунды никогда ещё, от самого моего появления на свет, не давалась моему зрению. В этих кустиках была какая-то особая чистота, какая-то беззащитная невинность, хотя стекала на них моя нехорошая слюна.

Неизвестно откуда меня навсозь охлестнуло ещё большим отвращением к своему нутру: за что, почему я плюю на эти кустки, на эту бурю, в мелких морщинах, кожу земли?

Почти тотчас из моего распыленного рта вывалился, наконец, комок боро-сизой слизи и шлёпнулся в пыль.

Я был весь в липкой испарине. Но мне с каждым мигом становилось легче дышать, вдыхая острые, чистые, будто сочувствующие дуновения, что поднимаются наверх из этих морщин и от этих стеблей с их матовыми пузырьками наверху.

— Кашель... коклюш, — чуть не с плачем произносила мама неприятные кашляющие слова, обращаясь к тому, кто сидел перед нами, но сидел спиной к нам. Я наконец-то разглядел его наклонённую вперёд спину. В наклоне его спины мне почудилась какая-то виноватость, будто это из-за него, из-за того, что мы с ним едем, мне стало плохо. Так я впервые в жизни мельком увидел существо, которое оказалось дедушкой Захаром. Правда, только спину его успел заметить, с её покатым наклоном вперёд.

Потом в изнеможении я закрыл глаза. Мягкая лежанка под нами снова стала покачиваться. Значит, мы опять двигались куда-то дальше. И это было лучше, чем оставаться на месте и снова клекотать всем телом.

— Неужели ты мог запомнить? — покачала мама головой, когда я, уже на исходе её лет, попробовал пересказать это своё старое-престарое впечатление жизни. — Тебе же было тогда сколько? Ну, года ещё не было... Папу только постригли в армию, а дедушка приехал за нами из Фёдоровки. — И, помолчав, добавила: — Да, у тебя как раз был тогда коклюш. Ты прямо надрывался, так сильно кашлял... Но приехали домой, и у бабушки Даши на её отварах ты быстро поправился.

Но как мы доехали, как выглядела хата, в которую меня внесли, как выглядела бабушка Дарья Яковлевна и как и чем она меня лечила — всего

этого я не запомнил. Того, что не запоминалось, как и всегда и у всех бывает, оказалось неизмеримо больше того, что осталось-отразилось насовсем.

Но не потому ли самым первым из моих созерцаний и уцелел тот день — с тележной ездой по степному просёлку, с припадками коклюша, с кустиками сухих трав, — что это были слишком уж чрезвычайные переживание и перемещение, чтобы им навсегда пропасть в непроглядности младенческого беспомыслия.

ЧЕТВЁРТЫЙ СНИМОК

Фотограф усадил учительницу, конечно же, посередине, разместив подопечных детишек кого по её правое, кого по левое плечо. А кого и внизу, на земле. Все они сосредоточенно, с внутренним волнением, как и на любом школьном снимке, смотрят прямо на камеру. Только я, упитанный карапуз на руках у мамы, в тёплой шерстяной шапочке по уши и в тёмном, из плотной ткани пальтишке, не умея ещё собирать внимание по чужой команде, гляжу как-то рассеянно.

За нами — окна и белые стены сельской одноэтажной школы.

Судя по тому, что все школяры одеты в пальтишки, как бы впопыхах накинутые, время года холодное, хотя снега на земле не видно... Поздняя осень?... Ранняя весна?..

Да что я вычисляю-то, это всё тот же самый декабрь, месяц нашего с мамой прибытия в Фёдоровку! Сколько раз по всяким семейным поводам открывал страницу с этим снимком, но только теперь вдруг приходит поздняя догадка. На глянцевой оборотной стороне нет никакой подсказывающей надписи, чисто. Но я готов безошибочно определить и год, и месяц, и даже день, когда нас с мамой и с этими ребятами снимали. Как можно было не учесть одну красноречивейшую подробность фотографии?! Впрочем, такое разве назовёшь подробностью?

Почти все дети старательно держат в руках распахнутые учебники. А там — большой, в целый книжный лист, портрет. В 1939 году 21 декабря было не просто очередным днём рождения Сталина, одним в ряду иных. В 1939-м вся советская держава торжественно отмечала 60-летний юбилей любимого вождя.

Потому-то, значит, приглашён, а скорей, сам, по распоряжению из районо прибыл и в эту сельскую школу фотограф. Потому же, кстати, и снимает он сейчас учительницу с её школярами не в классе, а на дворе, где свету в бессолнечный, один из самых коротких в году световых дней всё же побольше. Потому-то мама и принесла меня на руках сюда, в самую середку села, от нашей хаты, стоящей почти на западной окраине Фёдоровки. А как не принести? У меня ведь сегодня тоже день рождения. Первый в жизни. Мне ровно год!

Наверняка, она имела намерение вложить этот снимок в письмо мужу, как только фотография будет готова и как только дойдёт от него самого письмо с точным армейским адресом на конверте. Может быть, она уже и получила его и узнала номер полевой почты. И теперь надеялась, что фотограф не слишком задержится с распечаткой снимков для их школы.

К великому моему огорчению, фотография, о которой так подробно сейчас рассказываю, года четыре назад исчезла, потерялась из виду. То ли в какой-то из моих же книг или блокнотных тетрадей до поры затаивается, то ли кто из ближних забрал ненадолго, чтобы переснять, и позабыл вернуть, как забывают люди, случается, и книги возвращать их хозяевам. В приводимом здесь описании снимка я не нахожу больших огрехов, настолько он и сейчас отчётлив перед глазами. Жалко лишь, что не могу ничего более внятного сказать об облике мальчишек и девчонок из маминого класса. Вполне возможно, они даже и не из одного, а из разных классов, только занимались в одной комнате, — первоклашки вместе со второклассниками, со второгодниками или даже третьегодниками. Так ведь сплошь да рядом случалось, особенно в сельских школах. Хорошо ведь помню, что и одеты они были по-разному:

кто поопрятней, кто неряшливей, беднее. И портфели у одних — новенькие, так что хочется их держать на виду, у других — совсем обшарпанные, доставшиеся от кого-то из старших. Посмотри сам товарищ Сталин на такую фотографию или на десяток-другой ей подобных, наверное бы, принахмурился: да, не всем ещё, пожалуй, при Советах жить стало лучше и веселее. Ещё одну хотя бы пятилетку обязана страна осилить, чтобы приодеть да приобрести каждого из своих школяров.

Но я не заметил на этих детских лицах ни следа укоризны. Засидевшиеся за партами, ребятки повыскакивали на свой школьный двор со звонким визгом, в ожидании небывалого ещё события. Ведь большинству из них предстоит, может быть, самое первое фотографирование в жизни. И учительница только что сказала: каждый получит — не сей же час, конечно, а через малое время, — собственную карточку и отнесёт домой, чтобы поделиться радостью с родителями, и такой подарок надо будет сберечь на всю будущую жизнь. И вот дети, кое-как уняв свои восторги от предчувствия вознаграждения, скоренько извлекают из портфелей и сумок учебник, распахивают его на той самой заглавной странице, где портрет родного всем им дедушки.

Только я один ничего ещё толком не могу уразуметь в происходящем. Ни уразуметь, ни удержать в памяти.

ГОНЧАР

Однажды летним утром бабушка Даша сказала, что возьмёт меня в гости к Гончару. Я ещё не знал, кто такой этот Гончар, но раз мы отправляемся к нему в гости, значит, он угостит нас. Ведь бабушка уже выводила меня в гости, где нас угощали её соседки, то одна, то другая.

Утро было солнечное, но не жаркое, а свежее. Бабушка шла босая. И я тоже. Наши ноги окунались в тёплую дорожную пыль по щиколотки, и я видел, что когда моя нога прикасается к дороге, то в расщелинке между большим и вторым моим пальцем взбивается серый гребешок густой пыли. Какое-то время я развлекался этим наблюдением. Потом стал смотреть на бабушкины гребешки, и они были, конечно, гораздо больше моих. Потом — опять на свои. Они оставались такими же маленькими, как я ни старался растопыривать пальцы пошире или вдавливать ступни в пыль с большей силой. Потом я устал.

Получается, мы шли долго, потому что, когда впереди из-за соломенных крыш чужих хат и поверх садов показался на ясном небе высокий, как дерево, чёрный ствол дыма, и бабушка, кивнув на дым, сказала, что там и есть Гончар, то идти нам оставалось ещё далеко, будто до края неба. Может быть, бабушка даже и брала меня раз от разу на руки, я не запомнил.

Но вот мы всё-таки пришли. Бабушка постучала в окно, и через какое-то время на пустой двор вышел Гончар. Этот краснолицый дядька сощурился на нас так придирчиво, будто никогда не видел живых людей. Он не повёл нас в хату, куда положено приглашать гостей, но велел идти за ним в какой-то большой погреб. Там было страшно жарко, и прямо перед нами полыхал и гудел огонь в громадной печи. По сравнению с ней печь в нашей хате, где бабушка печёт хлебы, калачи или пироги, варит борщи, томит всякие там каши или мамалыгу, показалась бы игрушечной.

В печи у Гончара в тугих струях пламени колыхались большие горшки, макитры, кувшины, — всего я разглядеть не смог, настолько жарко оттуда пыhalo.

“Чем же нас будут угощать у Гончара?” — недоумевал я про себя. Но он уже вёл нас в другую комнату, полутёмную и прохладную. Тут на деревянных полках, а то и прямо на полу стояли опять же макитры, горшки, кувшины. Все они были, как на подбор, коричнево-рыжего цвета. Гончар пощёлкивал по их стенкам крепким, будто камень, ногтем, и посуда издавала из своего пустого нутра звонкие сухие голоса: “Син-нь... Зин-нь... Глин-нь...” Тут бабушка вынула из-под мышки большую холщёвую торбу и принялась проворно выбирать и складывать в неё приглянувшуюся посуду — всё те же горшки, кувшины, макитры.

Потом, когда мешок наполнился и выштался во все стороны круглыми и острыми боками, бабушка отошла с Гончаром чуть в сторонку и стала протягивать ему бумажки, а он, не глядя, совал их в карман своих грязных штанов.

И тут до меня дошло, что мы, значит, уже уходим домой — без всякого угощения. И я опять так вдруг устал, что начал зевать. Мне стало так тоскливо глядеть на всю эту порожнюю посуду. Зачем её так много, если из неё ничем не угощают нас с бабушкой, хотя мы шли сюда так долго?

— Эгей, Дарья, а хто ж цей малый? — окликнул бабушку Гончар, когда мы уже вышли из его горячего подвала на двор.

— Та цэ ж мий внук Юрьчок, — сказала бабушка.

— Ты дывысь!.. Юрко! — радостно уставился на меня краснолицый дядька, как будто мы с ним давно знакомы, только он сегодня из-за жары не сразу меня признал. — А ну, почекайте трошки. Бо в мэнэ е щось и для тэбэ, Юрко. — Он потопал босыми ногами в какой-то другой тёмный закут подвала, тоже, должно быть, уставленный всякими посудинами, потому что оттуда в ответ на его покряхтывание и ёрзанье отозвались звяком и кряхтением потревоженные горшки.

— Ага, ось ты дэ заховався! А ну вылазь на свит! — сердито прикрикнул, наконец, дядька и сам почти тут же вылез к нам на солнце. — На, Юрко, трымай!

На его чёрном указательном пальце висел, подцепленный за круглую глиняную ручечку, тонкогорлый кувшинчик.

— Ты дывысь, який гарный глэчик, — улыбнулась бабушка. И по её улыбке я понял, что могу безбоязненно принять из рук Гончара эту почти игрушечную крутобокую посудинку.

— Тэпэр будэш пыты из цього глэчика водычку. Чи молоко... А, може, щэ й горилку, га, Юрко?

И Гончар моргнул мне одним глазом и засмеялся пересохшей своей глоткой.

Таким было его угощение.

ГЛЕЧИК

Он увесистый и холодный, этот глечик, и он взопрел на дневном жару. Но мне совсем не тяжело нести его по дедушкиному следу, уходящему в траву от нашей телеги. Ручка у глечика шершавая, как раз под мою ладонь.

“Глэ-чик, а глэчик?.. Ты — мий глэчик”, — думаю я про него. У бабушки на хозяйстве есть разные там кувшины — под молоко, под сметану или простоквашу. А глечик — один-единственный. И он — мой. Теперь, значит, у меня тоже появилось своё хозяйство. А к нему появилось и поручение, и вот — я его исполняю.

Всё, что сейчас вокруг меня, все травы, что шелестят или недвижно нежатся под солнцем, всё, что ползает, перелетает между ними или копошится на земле, нуждается в моей опасливой оценке: уколет оно меня, поцарапает, ущипнёт, ужалит? Или же ласково до меня дотронется, не причинив никакого вреда.

Вот и получается, что без чьих-то подсказок или почти без них я, даже не зная по именам этих окружающих меня существ, имею уже достаточно осмотрительности и разборчивости, чтобы не лезть напролом, а на каждом почти шагу приглядываться и прислушиваться, а если надо, то и молча пятиться.

Прежде всего, мне нужно прислушиваться к влажному, вкусному шмыгу, чавку и хрупанью дедушкиной косы. “Шмыг-шмыг... Хруп-хруп... Жавк-жавк...”. Ей, должно быть, вкусно, косе, и дедушка её всё кормит и кормит, как прожорливого конягу. Дедушке Захару некогда оглядываться и высматривать: поспеваю ли я за ним или сильно отстал, а то и вообще куда-то с его глаз сгинул.

Это уже сразу было понятно, что мне тут дозволяется расхаживать только вслед за дедушкой, ступая по следам его чобот. Окажись я перед ним или сбоку от него, мои ноги угодят как раз под косу.

Да и как это я туда сунусь, если трава там — выше моей головы? В такой траве как раз заблудишься. А не заблудишься, так помнёшь её, и тогда коса начнёт спотыкаться.

“Зык-зык... Ость-ость... Жесть-жесть”. Это он остановился, вынул длинный серый брус из кармана и принялся точить косе её жало, чтобы она проворней сгрызала траву, легко валила набок.

Когда он прячет взмокший брус в карман, я успеваю спросить:

— Диду, воды хочешь?

— Ну, давай, — оборачивается он, и я протягиваю ему важкий, по самое горлышко наполненный водой глечик.

Дедушка откупоривает деревянную пробочку, которую сам же и выстрогал для глечика утром, делает три крупных глотка, вытирает усы тылом ладони и крикает:

— Яка ж вкусна! Як из крыныци... А ты сам хочешь?

— Ни. Ще нэ хочу.

Мне, и правда, ещё не хочется пить. А у дедушки, вижу, белая его рубаха на спине и на груди побурела. И на лоб, и на лысину выкатываются большие спелые капли пота. Он, как сказала бы с усмешкой бабушка, *запалывся*. Это она, когда собирала нас на косьбу, налила из ведра полный глечик воды и наказала мне поить дедушку, “щоб вин не запалывся”. Вспоминая теперь тот наказ, я думаю про себя: как же приятно исполнять её поручение и как хорошо, что этот глечик, совсем недавно мне подаренный, сегодня пригодился.

КРАСУЛЯ

Перед тем, как садиться солнцу, пастухи пригоняют череду в село, и я всегда с удовольствием выхожу с бабушкой встречать нашу Красулю в проулок между хатой и коровником. Пастухи длинными кнутами и громкими криками подгоняют стадо, чтобы и самим поскорей поспеть к ужину. Коровы, а за ними овцы с баранами и без понуканий поторапливаются к прохладным ночным жилищам с намерением вволю попить колодезной воды и дорваться до ясельного угощения. Вот почему вся череда не идёт, а прямо валит к селу шумным, жарким и потным валом. Взмывают, взбивают пыль, отхлёстываются хвостами от слепней. Того и гляди наша корова впопыхах проскочит свой поворот с улицы. Значит, надо её встретить, позвать по имени, а то и слегка подстегнуть заранее припасённой хворостиной.

Наступают мягкие тёплые сумерки. Бабушка с порожним ведром в руке важным шагом проплывает мимо меня и вступает в открытую дверь коровника — доить Красулю. Я тихо семеню следом за ней. Мне любопытно смотреть и слушать, как она неспешно усаживается на свою низкую скамеечку, чуть не под живот коровы, ближе к вымени и задним ногам Красули. Я молча жду той минуты, когда первые струи молока начнут звенеть о дно ведра и его стенки. Эти короткие прерывистые звуки так приятно слышать всякий раз. Мне только велено не подходить слишком близко к корове. А то ещё лягнёт копытом или хлестанёт хвостом по глазам. Или рогом заденет. Хотя корова у нас смиренная, но мало ли что ей взбредёт в голову после целого большого дня хождения и лежания под солнцем. Пока бабушка доит её, Красуля то и дело окунает морду в ясли, где для неё дедом заготовлена здоровенная охалка свежей, сочной травы. Корова мягко хрустит сладкой жвачкой. Такой охалки должно хватить ей до утра, когда сельскую животину снова погонят в череду. Я ещё буду спать, но знаю, что бабушка и утром, как всегда, отдоит корову.

“Дзынь-дзынь... зынь-зынь”... Первые звонкие удары струй о дно скоро сменяются более мягкими, спокойными звуками: “жик-жик... шик-шик... пых-пых...”. Мне не видно, высоко ли поднялось в ведре молоко, но приток шуршащих, будто шупукающих между собой звуков подсказывает: в ведре уже выросла целая шапка белой тёплой пены. Эти умиротворяющие шёпоты заполняют весь коровник, до самых тёмных углов, и мне начинает

казаться, что взбухающие в ведре шевеления, коровьи вздохи и шорохи трав-ных стеблей исходят именно оттуда, из слоистой мглы по углам, а не от ко-ровы, ясель, бабушкиной большой согбенной спины.

Однажды у меня даже появилось желание помочь бабушке и самому не-много подоить Красулю, подёргать её руками за длинные розово-белые тити. Но бабушка, услышав о моём пожелании, издала горлом насмешливо-обид-ный хмык и тут же отчитала меня: “Малэ тэля! Нэ лизь, куды не клычуть!”

Но на другое утро, усадив в хате на табурет, устроила между моими но-гами высокий и узкий деревянный то ли бочонок, то ли кувшин, накрепко заткнутый поверху круглой деревянной затычкой, из которой торчала палка.

— Ось, е и для тэбэ дило, — сказала она. — Трымай палку и пахтай. Там, у дэжци — сметана. Будешь добрэ пахтаты, — з той сметаны зробиць-ця масло.

И тут же показала, как нужно быстро и со всего маху толкать палку вверх-вниз, вверх-вниз.

— А корову доиты — то нэ твое, то дивчачье и жиночье дило.

Сметана — так сметана. А то я не знаю, что это такое. По вечерам, по-сле дойки, бабушка Даша угощает меня кружечкой тёплого, душистого, ещё шелестящего пеной молока. Но остальное она разливает из ведра по крын-кам и относит их в погреб. Когда молоко через время остынет в крынках, бабушка снимает с каждой посуды по несколько ложек загустевшего бело-го и чуть кисленького на вкус лакомства. Это и есть сметана. Но в крынке остаётся ещё и скисшее молоко, простокваша. Её можно есть и большими ложками. А если бабушка подогреет простоквашу из двух-трёх крынок в ка-стрюле и отцедит это горячее варево через сито, получится творог.

Я сразу же начинаю пахтать. Я собираюсь колотить невидимую глазам сметану изо всех своих сил. Кому же из нас не хочется масла? Иногда бабуш-ка добавляет его ложкой в кашу, иногда намазывает тонким слоем на кусок белого хлеба, недавно вынутого из печи. А иногда разогревает до пузырей на сковороде и потом переливает в кувшин. И это — уже топлёное масло, оно может храниться в подполе круглый год.

А ещё она относит свежее масло в колхоз.

Мне кажется, что я пахтаю уже целое утро, но почему-то совсем не по-хоже, чтобы масло в дёжке как-то дало о себе знать.

Если прислушиваться к скучным хлопаньям внутри посуды, то при-ходит на ум, что сметана так навсегда и останется сметаной.

— Щось вона ничего не хочэ, та сметана, — ворчу я вслух и зеваю. — Якась вона лэдэца.

— А можэ, цэ ты ничего нэ хочэш? — хмыкает бабушка — Може, то нэ сметана, а ты в нас такэ лэдэце?

Укор бабушки подхлэстывает меня. С новым раздражением принимаюсь я толкать палку вверх-вниз, то одной, то другой рукой. Но проходит ещё время, а эта противная сметана становится будто бы всё жиже и жиже...

— Бабушка, у мэнэ вжэ мозоляки на жменях, — начинаю я подхныки-вать. Она подходит ко мне, дует на красные водяные мозолики, вспухшие на ладонях.

— А ты подывьись на мои руки, — вдруг протягивает она передо мной свои полусогнутые ладони, все в глубоких чёрных морщинах и порезах. — Колысь и вонь булы таки ж билэньки, як в тэбэ.

В голосе бабушки Даши я различаю какой-то вздох, совсем слабый. Но этого звука оказывается достаточно, чтобы мне неожиданно захотелось притронуться своими губами к её жёстким шершавым ладоням.

— Ще чогу здумав, лызунчик! — отдёргивает она свои руки. И даже для чего-то прячет их под фартук.

Потом строго приказывает:

— Айда на двир! Сама допахтаю твою сметану.

Но на дворе мне почему-то сразу становится скучно, и я жалею, что по-жаловался на эти свои крошечные мозоли и не исполнил до конца поруче-ние. От нечего делать я прохожу в открытый настезь коровник, притраги-ваюсь к чистым, будто вылизанным Красулей яслям. Они пусты, ни одной

травинки не осталось, и через небольшое оконце на их светлые доски падает солнечный рассеянный луч. Недавно я тоже зашёл сюда один и вдруг обнаружил, что в порожних яслях, свернувшись калачиком, после обеда спит дедушка. Лысина его прикрыта кепкой, и он лежит, не разув своих старых чобот, в которых косит траву.

Я сказал об увиденном бабушке. Мы вдвоём заглянули в коровник, тихо подошли к яслям поближе. Бабушка негромко назвала его по имени. Но он не пошевелился и продолжал дышать себе в усы.

— Кумедия, — с улыбкой произнесла бабушка неизвестное мне слово. И добавила так же тихо: — Заморылся мий Захарий.

А теперь, не успеваю придумать для себя какое-то ещё занятие, как бабушка Даша уже кличет меня с порога в хату и кивком головы показывает на угол, где на полу в мисочке с холодной водой желтеет яркий круглячок масла.

Да когда же она всё успела!

Мне и стыдно, что не справился с пахтаньем сам, и радостно, что всё же и я постарался, как мог.

Но надо напоследок ещё постараться. Я мигом выскакиваю на улицу, потому что бабушке велит сорвать большой лист лопуха, а он растёт у нас в тени за хатой. Когда, запыхавшись от бега, я приношу ей самый зелёный, самый красивый лист, она промывает лопушину в воде и бережно заворачивает в неё масло, чтобы отнести в холодный подпол. И пока она его заворачивает и несёт, возле её рук всего на какой-то миг удерживается удивительный, тонкий, ни с каким иным запахом не сравнимый сладко-кисленький дух.

ДРАТВА

Утром я заглядываю в дедушкину мастерскую и вижу: посадив на нос круглые, при одной целой дужке, очки, он привязывает какую-то серую верёвочку на крючок, что торчит из саманной стены. Верёвочка не то чтобы толстая и длинная, но это и не какая-нибудь нитка. Я подкрадываюсь на цыпочках, чтобы не помешать ему, но понимаю по его хмыканью, что он уже заметил моё присутствие и даже доволен, что я здесь.

Всё, что бы ни делал дедушка, мне очень хочется лучше разглядеть, потому что он всегда делает что-то для меня новое и неизвестное. Потому что он у нас — *мастер*.

Так и бабушка про него мне недавно сказала:

— О, дид Захарий, вин такой! Вин у нас майстэр.

Я даже заметил, что бабушка и мама при нём вслух не называют коровник коровником. В этом — втором на нашем подворье строении — есть разные половины: в одной полует Красуля и в отдельных от неё закутах спят куры и утки, а на другой половине, с двумя большими окнами, — дедушкино хозяйство, его мастерская. Он так и говорит обычно: “Ну, пиду в майстерскую”.

— Диду, а що ты робышь? — заискивающе спрашиваю я у него, став сбоку.

— Хм-хм, — не спешит он отвечать. — Що роблю?.. Хиба ж цэ робота? Так, дратва.

— А для чога вона тоби... дратва?

— Для чога? Хм-хм... А щоб тэбэ... за вуха драты.

— А за що ж... драты?

— А щоб ты не був такой вэлыкый шкодник, — ухмыляется он. — Щоб не залазыв на стол з ногамы, колы люды снідають чи вечеряють.

Услышав про такое ожидающее меня наказание, я на всякий случай начинаю подхныкивать.

— Ну, нэ лякайся, — утешает меня дед. — Дратва — вона зовсим нэ для того.

— А для чога ж? — приобадриваюсь я.

— Бачишь чобот? — он поднимает с пола старый мятый сапог. —

Дывись, яка дирка збоку. У таку дирку скільки болотяки и пылі залізэ? От для того и дратва, щоб цю дирку заштиты.

Он суёт мне в левую руку конец конопляной верёвки.

— Зараз будэш мэни робыты дратву. Бо цэ щэ нэ дратва.

Достаёт с одной из многочисленных деревянных полочек, приделанных к стене, тёмный кусок воска.

— На. Трымай воск у правой руци и вошці коноплю що сылы. И як навощишь добрэ, вона станэ дратвой.

Воск в моей ладони твёрд, как камень, необычное занятие забирает меня за живое. “Живк-живк... жик-жик...” Постепенно комок начинает размягчаться и пахнуть ульем, а верёвка делается всё темней и жирней.

Вижу, дедушка доволен моим вощением:

— До-обра выйшла дратва! Нэ згные.

Но всё же он забирает у меня воск и верёвку и сам ещё и ещё вощит её напоследок.

Не успеваю я отдышаться от нелёгкого для моих рук дела, как он, вижу, снимает с полки и просовывает в старый сапог какую-то светлую деревянную чурку.

— А цэ що, диду?

— Колодка, — объясняет он. — Щоб кожа на сапозы нэ зморщылась, а була ривна. Сапог без колодки не зробишь.

Я озираюсь на полку и вижу, что там стоят ещё несколько разного размера колодок.

И вот уже наша с ним дратва усилием дедовых напрягшихся пальцев то входит на железном поводке внутрь сапожного края, то высовывается наружу. Так раз за разом, раз за разом — и от дырки не остаётся следа.

— Ого! — люблюсь я дедовым изделием.

Но он переворачивает сапог наизнанку и хмурится.

— А тут, бачиш, що? Каблук покрывывсь. Трэба прыбываты новыи. А дэ ж там наши гвоздочки?

Я проворно подношу ему с полки тяжёлую баночку с гвоздями.

— Ни, — качает он головой и сам протягивает руку к полке. В коробке из-под спичек вижу горсть ровных, один к одному деревянных гвоздочков, похожих на спички, только коротких, с острыми кончиками.

— Жэлизни гвозди — то для подковок, а нам потрибни гвоздочки дэрэвинни. Да-да, — убеждает меня дед. — Ты нэ дывись, що воны з дэрэва. Дэрэво кожу крепче держэ. Я сам их з дуба наризав. А тэпэр нэсы мени вон той молоточок, малэнький. И шилко визьмы, — кивает он головой на другую полку.

Легко сказать ему. А там у него столько выставлено напоказ молотков, молоточков, что попробуй сразу выбрать нужный. Или то же шило, — какое нести, если у него, оказывается, и шил полным-полно?

Вся эта стенка, как только подхожу к ней, меня снова и снова озадачивает. А сколько тут висит разных пил! Длинные пилы с двумя ручками, короткие, при одной ручке. И эти вот, как он их называет, рамовые, — они, точно, похожи чем-то на оконные рамы... А всякие там длинные и толстые буравы, свёрла, рубанки, длинные фуганки, другие хитрые деревяшки и железяки, которых я пока и по именам не могу запомнить и не знаю, что он ими делает? И неловко мне спрашивать его то и дело, но и молчать не получается:

— А цэ що такэ?.. А цэ, диду?.. А цэ?..

Но вот нужные ему молоточек и шильце доставлены. В новой подмётке каблука он протыкает шильцем дырочки, а потом уже вбивает в тесные отверстия свои деревянные гвоздочки. Из чёрной подмётки они проступают красивой светлой россыпью.

Дед опускает очки ближе к ноздрям и смотрит на меня с лукавой усмешкой поверх круглых стёкол:

— А що, хочеш свои сапожки носыты?

При этих его словах в голове у меня проносится какой-то тёплый ветерок.

— Хб-очу, — шепчу я.

Он примолкает и шевелит губами из-под усов:

— Сколько ж мени було рокив, колы я заробыв перши свои чоботы? И ещё молчит.

— Ноги в мэнэ вжэ булы таки ж вэлыки, як и з'араз.

Я шепчу что-то про себя, чтобы прикинуть, когда же и мои ноги станут большими, как у дедушки. И почему-то кажется, что это будет ещё не скоро.

— Та нэ журысь. — Дед слегка похлопывает меня по спине. — Цього ж лита, як збэрэм пшеничку и жито, зроблю тобі малэньки чоботки.

Только исполнить это своё обещание он так и не соберётся.

ВАННОЧКА

Крестили меня не в церкви, а в обычной сельской хате, потому что началась война, и мы уже оказались в немецком и румынском тылу. А Фёдоровская церковь на ту пору ещё не была заново открыта.

От картины того дня, позже подкреплённой немногочисленными дополнениями мамы, уцелело в памяти несколько разрозненных подробностей. Тихое пасмурное небо над селом. Сырая тучность приусадебного вспаханного клина, на котором дедушка обычно высевает рожь или пшеницу... И мы с бабушкой Дарьей, спешащие по тропе вдоль этого клина к чьей-то хате, что стоит почти напротив нашей, но ниже по склону балки... Вот приметы, позволяющие мне считать: пора была осенняя.

Значит, ещё 1941-й? Фронт отошёл на восток, и на селе оккупационная власть немецкая вскоре сменилась властью румынской. Союзники Гитлера румыны рассчитывали на то, что земли, прежде называвшиеся Бессарабией, а это, кроме Молдавии, ещё и большая часть Одесской области, будут отданы Берлином под их управление.

Но всё ж румыны — православные. Не потому ли и священник объявился, ходит по домам, крестит. Скорей всего, в село он пришёл почти сразу после того, как грома войны откатились вглубь страны. Не в правилах воина Христова было бы медлить с исполнением самых насущных таинств, треб. Здешний крестьянский люд, ошеломлённый, как и повсюду, молниеносностью чрезвычайных перемен, особо нуждался теперь в духовном окормлении. Да и сам иерей до возобновления храмовых служб мог всё же рассчитывать на хлеб свой насущный, пусть пока и в виде скудных подаваний, от случая к случаю.

Бабушка, догадываюсь, с моим крещением тоже никак не хотела медлить. Село пребольшое, а все друг друга знают. Мало ли кто может проговориться властям: у Грабовенок сын — красноармеец, у старшей их дочери *чоловик* в Красной армии, средняя — учительница, и муж её, второй их зять, — тоже красноармеец. Да ещё и младшая дочь медестрой ушла с красными.

Пытаюсь представить себе сильнеешие тревоги и внутренние борения, которые вселились в душу бабушки накануне стремительного отступления наших войск. Мама — уже в пожилые свои годы — рассказала мне однажды: за несколько дней до прихода немцев она, запыхавшаяся, прибежала из школы и с порога, со слезами отчаяния, выпалила родителям: школьное начальство даёт ей возможность срочно эвакуироваться вместе с сыном, то есть со мной, а значит, нужно сейчас же собираться... Дедушка что-то невнятное раз-другой хмыкнул, видимо, примеряя про себя, какой всё же дать наиболее благоразумный отцовский совет. Но бабушка Даша и минуты не промешкала. В её холодном кратком определении вдруг проступила древняя как мир суровость охранительницы очага: “Ты, Тамара, робы, як хочеш, а його, — и она пригребла меня к своему животу, — його я тобі не виддам!”

И юная моя мама тотчас сникла. Потому что поняла: да, не отдаст. Может быть, только такой приговор своему отчаянному намерению она и желала теперь услышать? Потому что он означал для неё одно: значит, и сама она ни в какую-то такую эвакуацию не отправится. Что там, за этим жестяным, заманчиво-зловещим “эвакуация”?.. Бегство, пыль, нищенские узлы на телегах, эпидемии... Куда, в какие ещё спасительные кущи, на какой срок?

Что за смысл от одного лиха другого лиха искать? Да неужели же она сама — без сына — возьмёт и побежит?!

Но и бабушке, так властно распорядившейся судьбой дочери и внука, отступать было теперь некуда. Каждый день, каждую неделю, каждый длящийся медленным чередом месяц оккупационной оцепенелости ей нужно было снова и снова доказывать правоту своего решения. И когда она услышала однажды, что в округе объявился священник, ходит по хатам, крестит, исповедует, причащает, ей ничьи подсказки уже не потребовались. Когда ж, если не теперь, крестить внука? Не нагрянь война, разве эти родители-комсомольцы дали бы его окрестить? А, помоги Боже, погонят немцев и румын назад — что тогда? Тогда тем более не дадут! И вырастет дитя нехристом. Грех, великий грех падёт на неё, нерадивую рабу Божию Дарью.

Не проучившаяся, в отличие от мужа, и года в церковно-приходской школе, она, однако, знала наизусть, что именно понадобится от неё в день совершения таинства, чтобы не оплошать перед неизвестным священником. Нужно приготовить крестильную рубашку до пят. Нужен крестик, на цепочке или на гайтане.

Рубашку быстро из простынки скроила, сшила, выстирала, прогладила. Крестик, маленький, золотой, у неё уже был для меня припасен. И цепочка медная лежит горкой в узелке.

Односельчанки попросили её принести заранее ещё и ванночку, которая должна послужить вместо церковной купели. Ведь собираются крестить сразу нескольких детей, кто поближе к нашему краю села живёт, а таза или корытца подходящего ни у кого нет. Вот и вспомнили соседки: у Грабовенко почти новая ванночка — для внука куплена, как народился. Пусть её и принесёт тётя Даша.

Это всё приготовлено, но как быть с крёстным отцом, с крёстной матерью? Бабушка загодя поговорила со старшей дочерью. Лиза разве откажет? Крёстным же вызвался стать, а значит, прибыть к назначенному дню мой дядя Коля, старший брат отцов, хоть он и живёт на железнодорожной станции, в двенадцати километрах от Фёдоровки. Вот и хорошо. Восприемниками внука — его же дядя и тётя. Ну, а присутствие родной матери и по канону не обязательно. Объявись она, так священник, если окажется строг, ещё и отчитает юную учительницу: сама ты, значит, крёщёная, а почему же душу своего сына по сей день, покуда гром страшный не грянул, оставляла в пустыне безверия?

...Через несколько минут мы с бабушкой его увидим. Какой он из себя, этот человек, которого одни зовут попом, другие — священником, третьи — батюшкой? Что он скажет нам? И что это всё-таки такое — *окрестить*?

Я ведь иногда вижу, как бабушка крестится, стоя в углу нашей хаты перед иконами. Вижу этот сопровождаемый тихим шёпотом и поклонами крупный, мерный мах её правой руки ото лба к поясу, и затем от правого к левому плечу. Вижу изредка и дедушкины меленькие, как бы наспех, крестики. Крестится ли мама, я не знаю, не видел ни разу. А когда сам, подражая бабушке, пытаюсь правой рукой неловко елозить по лицу сверху вниз и от плеча к плечу, она косится укоризненно и говорит со вздохом:

— Почекай трохи.

Может, сейчас, сегодня и станет мне ясно, почему она велит мне подождать немного, не делать до срока так, как делает сама?

А пока мы идём с нею к хате, в которой я никогда ещё не был, но которая всегда так хорошо видна, когда стоишь на нашем домашнем пороге. Или когда смотришь на село из наших южных окон.

Она — внизу, в долине, при нижней дороге, и к нам обращена глухою своей, белой с синими углами стеной. Значит, в ней и произойдёт *это*, о чём бабушка меня предупредила самым, похоже, немногословным, при всегдашней её сдержанности, образом: “Почекай трохи”. Оттого я теперь сам не свой, попевая рядом с ней по тропе вдоль чёрной пахоты.

Уже внутри хаты наливает на нас со всех сторон множество лиц наших односельчан, — взрослые, дети... Одни, кажется, знакомые, но больше таких, кого никогда раньше не видел. И разве сообразишь, кто где? Голова

идёт кругом. Но посреди всех одного различаю отчётливо — в чём-то чёрном до пят. И сам он какой-то чёрный: чёрными глазами озирает всех сразу, черноусый, с чёрной, густой, не виденной никогда ни у кого из наших сельских бородой, с чёрным загривком за плечами... Он, если бы не бледные лицо и руки, совсем чёрный. Только на груди — большое что-то светится, беломатовое, на крупной светящейся цепи... Что это у него? Красивое такое, многоугольное, хочется потрогать рукой. Да разве посмею?..

И, вижу: он медленно снимает с себя это светящееся, не спеша, будто во сне, окунает в воду... Раз окунает и другой... И ещё раз...

Всплёскивает, разлетается искрами вода в нашей, — узнаю её и немного успокаиваюсь — ванночке. На её закружённую спинку крепкими его пальцами прилеплены три восковых свечи. Как только они вспыхнули, все глаза, все лица вокруг, и его лицо и руки тоже, будто смягчились, потептели. Как и все, смотрю на него неотрывно. Никогда ещё в малой своей жизни не встречал ведь я человека, так спокойно подчиняющего присутствующих власти своих тихих слов и движений.

Никогда и не встречу его больше.

Зато, пусть не с ним, но с такими, как он, буду встречаться многократно. В разные десятилетия буду знакомиться со священниками, непохожими друг на друга по возрасту и облику, по духовному опыту, — в часы крестин, иногда в церквях, но чаще у кого-то на дому. Буду постепенно узнавать в подробностях, в мерном его последовании весь православный чин таинства крещения, удивительный в своей первобытной простоте и мудрости.

Но к облику того дня — к событию собственного крещения — мне здесь добавить, как ни жаль, уже и нечего. Потому что, сколько ни напрягаю память, не различить, не подобрать в горсть уже ни капли из той утекшей воды крещальной. И зачем же стану внушать, воображать здесь самому себе и тому, кто это читает, живописание таинства, взятое в долг из впечатлений уже взрослой своей жизни?

Наверное, в наступивший тогда час слишком переполнен был я переживаниями, чтобы они уцелели в памяти неприкосновенно и сполна. А с другой стороны, слишком сильно, спустя всего несколько лет, обрывочная эта память была запечатана доверительными просьбами материнскими: не говорить о своём крещении ничего никому. А насмешливые высказывания моих первых же школьных наставниц в адрес разных там попов и безграмотных тёмных старушек? Разве не впитывались они безоговорочно мной и моими сверстниками наравне с истинами азбучного строя, арифметических правил сложения, вычитания?..

И всё же остаётся при мне от того дня один свидетель искренний, свидетель непреложный — бабушкин золотой нательный крестик. Почти четверть века спустя после своих крестин освободил я его из заветного тряпичного узелка, вручённого по какому-то случаю мамой, и стал носить на груди, чтобы уже никогда не снимать.

И ещё свидетельница есть одна. По старинному церковному правилу суд, в котором крестят людей, в хозяйственных нуждах использовать запрещено. Как запрещено и воду освящённую выливать, куда ни попадя. Ну, под цветы комнатные можно, под деревья плодовые можно... Не знаю, напомнил ли священник, крестивший тогда нескольких сельских детишек, эти правила присутствующим взрослым. Может, и не стал напоминать, потому что каждый день видел вокруг себя скудость крестьянского житья, обложенного со всех сторон запретами то предвоенной, то военной поры.

Как бы то ни было, ванночка моя — в тот ли самый день или немного позже — вернулась в наше жильё. И в ней, наверняка, продолжали меня купать. А потом, уже после войны, купали в ней поочередно моего скончавшегося во младенчестве братца, затем и сестру. А стирки разных там пелёнок, распашонок, рубашек да и взрослого белья? Как и по этой неотложной надобности обойтись было без неё? И ванночка кочевала с нами по стране, — на телегах, в поездах, на машинах — и не порожней, конечно, а нагруженной — когда тем же бельём, когда съестными припасами. Терпеливо и выносливо продолжала службу незаменимой в быту вещи.

И по сей день висит где-то в родительской дачной подсобке, уже ни на что не пригодная, праздная от бесконечной череды забот и попечений.

СТРАННЫЙ НЕМЕЦ

Вот он поднимается не спеша от нижней сельской дороги в нашу сторону, а мы с дедушкой сидим на завалинке хаты и смотрим, как он вышагивает.

Я уже умею немца отличить по одежде от румына. Немцы ходят в зелёном, а у румын одёжка какого-то бурого цвета, точно пожухлая солома. Но этот, что шагает в нашу сторону, он — не просто в зелёном. Всё на нём — фуражка, китель и брюки — звонко-зелёное. Когда он обходит по краю дедушкин клин, на котором уже проступили входы озимой пшеницы, я замечаю, что одежда у этого немца зеленью своей похожа на травяные ростки.

Другие немцы, которых я уже видел, носят серо-зелёные рубашки и пилютки, будто полежавшие перед тем в болотной воде, какие-то грязные.

А когда я их, немцев, впервые разглядел? Давно или нет? Не могу уверенно сказать. Но точно, утром случилось. Потому что спал, как было для меня заведено в холодное время года, на печи. И вот пробудился, расслышав сквозь занавесочку непонятную речь внизу. Слова доносились непривычно громкие, дребезжащие, даже со скрежетом. И как будто сыпались они из разных углов комнаты.

Я зашевелился. Очень захотелось разглядеть, кто же там такие. В щель между трубой и занавеской я увидел, что у противоположной стены комнаты сидят — кто на стульях, кто на табуретках — несколько голых по поясе чужих дядек. Сидят, наклонив головы, и что-то упорно рассматривают, торопливо прощупывают в своих рубахах. Не знаю, что меня больше поразило, — дружное копошение пальцами в одеждах или то, что они в чужом доме сидят полуголыми, совершенно этого не стесняясь, громко разговаривая и пересмеиваясь. Ведь я никогда не видел ни дедушку, ни бабушку, ни маму мою без одежды.

Тут перед занавеской возникло откуда-то сбоку хмурое лицо бабушки Даши. Она сухо прошептала:

— То немци...

Оглянулась, наклонилась снова к моему лицу и сердито добавила:

— Не лизь до них...бо в них воши.

Тут-то я сообразил, чем они занимались. Они выскивали в своих кителях и рубашках, расщёлкивали ногтями... вшей!

Бабушка задернула занавеску, а я отпятился вглубь лежанки и даже надвинул на голову одеяло. Что, если и ко мне приползёт снизу отвратительная пакость, гадкие жучки, от которых у взрослых и детей кожа на голове и на теле начинает чесаться? От них же, говорят, можно заразиться и умереть.

Снова заснуть я уже не смог. Так и пролежал неизвестно сколько, сжавшись в комок, пока не стало совсем тихо. Бабушка окликнула меня и сказала, что можно спускаться, потому что *немци* куда-то ушли.

Но в другой раз несколько таких же, в серо-зелёном, солдат вдруг среди утра ввалились в хату и, без всяких слов, принялись скатывать с пола, сгребать в охалки длинные полосатые рядна. Рядна выскользали прямо из-под наших ног, и мы с бабушкой от испуга чуть не попадали на пол.

— Тикай! — сердито крикнула она мне.

Я опрометью кинулся на двор. Но здесь оказалось куда страшней. Сразу за нашими грядками, вся в чёрно-зелёных пятнах, торчала невесть откуда сюда приползшая уродливая железяка — (потом я узнал, что она называется танкеткой). Из её щелей с треском валил чёрный зловонный дым. Спиной к железяке стоял ещё один немец. Он отмахивался от клубов гари и свирепо орал что-то трём солдатам, которые уже неслись из хаты со свёрнутыми ряднами на груди. Тут я обернулся на гневный вскрик бабушки Даши.

Она стояла на пороге и размахивала поднятыми вверх кулаками.

— А, тряся вашей матэри!

Я впервые услышал от неё такие грозные, как раскат грома, слова. В брани её было что-то ужасное.

Тем временем немцы, мешая друг другу, уже запихивали рядна в дымящееся нутро своей уродливой машины. Дым быстро сникал. Когда он совсем иссяк, солдаты принялись выдёргивать и кидать на землю почерневшие, чадащие комки смрадных ряден.

Только после тушения пожара они обернули свои чумазые лица в нашу сторону. Странно, они смеялись, будто довольные проказой дети.

...А вот этот, в ярко-зелёном, нарядном, с какими-то светлыми нашлёпками на воротнике и плечиках, всё идёт себе не спеша, будто на прогулку собрался. Может, вовсе и не к нам направляется? Остановился у крайнего в саду сливового дерева, что-то под ним разглядел.

— *Охви-цэ-эр*, — тихо, врасстяжку говорит дедушка и покашливает.

Когда он произносит новые, непонятные мне слова, я сразу верю, что он их не сам придумывает, как не берет же откуда-то из воздуха и названия для своих инструментов.

Мама мне недавно рассказывала, что у родителей дедушки Захара он был в большой их семье чуть не самым маленьким, — ну, немного постарше меня. Семья бедствовала, и потому смышлёного Захара отдали *внаймы* в немецкую колонию, на работы по хозяйству. То были совсем другие немцы, не похожие на этих военных, и он очень старался, запомнил у них названия самых разных инструментов и как ими пользоваться...

Конечно, мне бы хотелось и у самого дедушки расспросить про ту немецкую колонию, про то, когда и где это было, и где теперь те немцы, у которых он жил. Но не сейчас. Сейчас мне очень хочется услышать от него, куда всё же идёт этот немец, и не ждать ли от него беды.

Ведь совсем недавно великая беда чуть не случилась: к нам в хату вломился, и тоже без стука, как те, что своровали и испортили бабушкины рядна, ещё какой-то *серо-зелёный*, — толстенный, щёки трясутся на ходу, страшно чем-то недоволен.

Так его помню, будто и дня не прошло. Сопит, быстро обшаривает глазами большую комнату, лезет в малую, где как раз я стою у окна, только что подтолкнутый сюда бабушкой.

Взгляд его мгновенно упирается в стену над кроватью. И почти тут же он начинает верещать, как боров:

— Лееенин?!

Щека и толстая его шея наливаются кровью.

Бабушка, бледная, с немым вопросом в глазах, замерла у двери.

— Лееенин? — тычет он хлыстом, чуть не пробивая насквозь портрет в тёмной деревянной раме.

И уже не спрашивает, а будто наотмашь бьёт, нацеливая хлыст попеременно то на стену, то на бабушку:

— Ленин!.. Ленин!..

Наконец, она догадывается о причине его ярости.

— Господи! Та який же цэ Ленин? — всплёскивает она руками. —

Цэ ж Захарий, мий чоловік...

Суматошно озирается, окликает со слезами в голосе:

— Захарий?.. Та де ж вин?

Бабушкин взгляд падает на меня.

— А ну, бижи, покльйкай дида... Нэхай йдэ сюды... Швядче!

И опять пытается уговорить немца:

— О, Господи, щэ й таког нам нэ хватало... Та хйба ж то Ленин?.. Та нащо б вин тут высив?.. То ж мий чоловік, Захарий...

Не успеваю выбежать, как дедушка сам явился на крики, переводит взгляд с бабушки на немца, тихо спрашивает у жены:

— Що такэ потрапылось?

Крик просто душист толстяка:

— Леее-нин!?

— Та вин кажэ, — захлёбывается слезами бабушка, — вин кажэ, що то Ленин... на портрэти... А? Що тэпэр зробышь?

И тут дедушкины усы неожиданно распушаются в улыбке. Он делает шаг прямо на немца.

— Нихт Ленин, ниht... то я сам... Их бин!.. — дедушка тычет себя пальцем в грудь. — Майн портрэт... малер намалював... германьский малер ин германьский колония... Их бин арбайтер ин германишен колония... унд малер за марки, розумиетэ, арбайте майн портрет.

Мы с бабушкой не можем понять, что именно пытается он доказать немцу чужими для нас словами. Но, похоже, этих слов оказывается достаточно, чтобы тот вдруг перестал орать и вытаращился. Но уже не на портрет, а на лысого шутника, который говорит почти безостановочно.

— Герр офицер, — наступает дедушка, — ахтунг! — И показывает на свой подбородок. — Их бин ниht Ленин... Ленин хабе бо-ро-да... Их бин ниht бо-ро-да.

Даже мы с бабушкой теперь понимаем: да, у него нет бороды, и на портрете его тоже нет никакой бороды. А у этого, из-за которого немец так разорался, борода, значит, есть? И немец об этом разве не знает?

Толстяк в досаде бьёт хлыстом по голенищу сапога, свирепо машет пальцем перед носом у дедушки, будто хочет уличить его в великой хитрости. И вдруг молча, растолкав нас к стенам, бросается из комнаты. Мы слышим грохот удаляющихся шагов. Но ещё несколько минут стоим в оцепенении. Что, если этот страшный *герр офицер* захочет вернуться и снова примется орать на всех?

Тут бабушка дотягивается руками до рамки портрета и, не спрашивая согласия у своего *чоловика*, снимает со стены. И молча уносит куда-то...

Мне бы в тот час разглядеть напоследок портрет молодого своего дедушки. Ведь ни при немце, ни до его нежданного появления я сделать этого так и не успел. Потому что всегда пребывал он на стене и был для меня, как и сама эта стена, всегдашним. До того привычным, что и разузнавать что-то о нём повода не возникало. А теперь, когда она его унесла, разве теперь у неё или у деда допросишься, куда всё-таки подевали его? Ходят по хате и молчат, будто не узнают ни друг друга, ни меня.

...Но что же этот, в чистом зелёном мундирчике?.. Он всё-таки, похоже, идёт к нам. Хотя и посверкивает по сторонам круглыми очёчками, а нас как бы всё ещё нет для него. И лишь когда ему остаётся шага три-четыре до пристенка, где мы сидим, он замирает и чуть приоткрывает маленький рот, будто сказать что-то собрался. Но тут же и передумывает говорить. Или это он так зевнул?

Лицо у него под большой фуражкой тоже маленькое, молоденькое и, кажется, совсем не злое. Теперь он не смотрит по сторонам. То на дедушку глянет, то на меня. Дедушка уже пробует привстать и снять кепку, как принято у взрослых, и наклонить лысую голову в знак приветствия. Но немец прикасается тонким концом хлыстика к плечу его телогрейки, тем самым позволяет сидеть и дальше, как сидели до сих пор.

Он продолжает рассматривать нас, и мы, как ни хочется отвести взгляд от его светло-серых, бесцеремонных и каких-то дурашливых глаз, тоже вынуждены из опасения заглядывать в его размытые стёклышками очков, мутноватые, но неотрывные зрачки. И это взаимное разглядывание — для нас неловкое, изнуряющее, а для него, похоже, забавное, как игра посреди хмурого дня, длится так долго, что даже дедушка мой начинает похмыкивать.

Ещё совсем немного, ну, минуту, ну, две или три, и он уйдёт вниз по склону, к южной дороге, откуда и возник. Ни о чём не спросит, не попросит, не потребует ничего, не захочет войти в хату, где сейчас одна только бабушка, и она что-то делает по хозяйству, даже не догадываясь, возможно, о приходе очередного незваного гостя... Одного из незваных, которые мне навсегда запомнились.

Но те, остальные для чего-то очень им нужного появлялись: одни — чтобы давить своих насекомых, другие — чтобы испакоститить половые наши рябенькие дорожки, ещё один — чтобы разоблачить хозяев за хранение портрета советского вождя. А этот? Он же ничего от нас, похоже, не хотел.

И хотя он простоял перед дедом и мною, возможно, совсем не так долго, как мне показалось, но запомнился почему-то с особой отчётливостью, и потом, в разные десятилетия, я будто бы на фотоснимке снова и снова видел перед собою эту его тщедушную юношескую фигурку, серые размытые, но щупающие глазки, кругленькое личико, серебряные нашивки на отворотах мундирчика. Он остался загадочным и странным.

Те ведь тоже вели себя непривычно, даже отчасти смешно: со своими насекомыми, со своей клубящейся чёрным дымом бронемашинной, с померещившимся Лениным. Что в них было загадочного? Что было странного в том, что ещё какие-то из них однажды замусорили нам двор мятыми обёртками от масла и плавленого сыра? Помню, бабушка, заметив, что я уже потянулся рукой к сверкающей фольгой обёртке, цыкнула на меня: “а ну, не лизь... то гимно поросяче, смиття... тьфу!” Что было странного, загадочного в том, что они мусорят или гадят, где попало, не стесняясь взрослых и детей?

Не выглядели странными, а скорей — смешными, жалкими — и румыны, что в своих грязно-бурых шинелках с поднятыми воротниками ходили по трое-четверо вдоль улиц села и требовали, а то и выкликивали у хозяек кукурузную муку, чтобы сварить из неё свою плотную кашу — мамальгу. Он зернового хлеба у них, говорят, болели животы и опухали глотки и дёсна, вот они и шли за своим кукурузным сбором с приоткрытыми ртами...

Почему же и по сей день остаётся для меня загадочен этот, единственный из всех? Ведь для чего-то и он всё же появился? Может, хотел разведать, не здесь ли живёт молодая учительница и какая она из себя, и знает ли она, к примеру, немецкий язык?

Или о другом у неё хотел узнать: не она ли красуется на фотоснимке, который он приметил в жильё, где находится на постое: школьники сидят вокруг своей наставницы и по её команде учебники пораскрывали, и у всех там — Сталин!

Но маму в тот день он бы увидеть не мог — ни в хате, ни на подворье. Она вообще в те дни и недели, когда через Фёдоровку немцы прошли в 41-м на восток и когда в начале весны 44-го покатали на запад, в родном доме почти не появлялась.

Лишь после оккупации провела она меня к той отдалённой хатке на краю поросшей молодым лесом яруги, где *ховалась*, и не только одна. Мы пошли с ней сначала задворками села, мимо дедушкиного виноградничка, мимо кладбищенского холма. Когда миновали самые дряхлые деревянные кресты и один или два древних каменных, почти заросших кустами шиповника, тропы изогнулась, зашпорила вниз, вдоль тёмной размоины-рыпы, цепляясь за корни деревьев. Тут, на крошечной полянке под старой лишайистой соломенной стрехой и обнаружилась хата-невеличка маминой бабушки Олены. Что-то мама ей принесла в узелке и выложила на стол. Почти тут же маленькая старушечка в светлом платочке залепетала, зашаркала ножками в сторону белой и тоже маленькой печки, обещая, что и у неё в *хатынке* найдётся гостинчик, чтобы угостить Тамариного сынка. И точно, в ручке своей она вынесла к столу ещё тёплое печёное яблоко, будто напитанное мёдом. И я подумал: как хорошо, наверное, было маме *ховаться*, — укрываться тут, на самой глухой из окраин села, от всякой беды. И как жалко, что ни от бабы Даши, ни от мамы я ничего про таинственную свою прабабушку до сих пор не знал...

А что, если этот любознательный, в зелёном мундирчике, от кого-то в селе выведал фамилию моего отца и потому захотел, поднявшись к нам, разрешить своё недоумение: что это за фамилия такая *Лощиц*? Вроде бы перекликается с немецкими и австрийскими типа *Лейбниц*, *Тирпиц*, *Клаузевиц*, *Зейдлиц*?. Или же отнести её надо к иудейским, поддельным под германские и австрийские, — вроде *Лифшиц*, *Липшиц* и прочие?

А может, потому он пришёл, что его рассмешил недавно услышанный от своих же анекдот про местного крестьянина, который с помощью всего нескольких немецких слов доказал солдафону из разведки, что в сельской хибаре висит не портрет Ленина, а его, крестьянина, портрет, да ещё написанный каким-то художником из старой немецкой колонии?

Или же интерес к дедушке возник у странного гостя по другой причине: от кого-то из наших односельчан он мог услышать, что, точно, этот самый Грабовенко в молодости работал у немцев-колонистов и выучился готовить всевозможных сортов колбасы, сальтисоны, ливеры, грудинки и окорока, а сверх того на сельских свадьбах он же может часами лихо играть на скрипочке всякие краковяки и польки. Судя по всему, у офицерика не было в то утро гастрономических намерений. Ну, какой крестьянин станет к его приходу придерживать в своей кладовке хотя бы фунт шпига? Но вот что касается музыки... Что, если он сам был музыкант? И шёл к нам, насвистывая что-то весёлое из Гайдна или Моцарта, или модного Карла Орфа? Ведь все они, великие, не стыдились обрабатывать для своих оперных арий, концертов, сонат самые простенькие, но забавные мелодии, подслушанные именно у простолюдинов. И лишь подойдя к нам на два шага, решил, что его с этой легендой о пейзанском скрипаче кто-то из переводчиков ловко разыграл. Ну, не способен сидящий перед ним старик в ватнике, с грубыми венами рук, с короткими, корявыми, жёлтыми от никотина пальцами, с их узластыми от земляных работ суставами не только пиливать что-то, а даже притронуться к смычку и скрипичным струнам.

Как-то за беседой с Петром Васильевичем Палиевским, который в отрочестве даже подвергся насильственному выселению в Германию, я вспомнил о своих годах, проведённых в оккупации, в том числе и об этом странном поведении немца. Палиевский оживился и пообещал дать мне на время недавно выпешдший в США, но в русском переводе, сборник воспоминаний немецких офицеров и солдат, воевавших на территории СССР в составе гитлеровских войск. Уникальность этих мемуаров, в чём я убедился, прочитав книжку, заключалась в том, что авторы подобались, видимо, по принципу нестандартности своего отношения к народу, с которым они много лет назад столкнулись в советской России. Они писали не столько о своей личной храбрости, не о стратегической гениальности или, наоборот, тупости командующих фронтами, армиями, корпусами и дивизиями, сколько о странном славянском народе, живущем в варварской праотеческой простоте. Их убогие жилища с глиняными полами и соломенными крышами лишены электричества, водопровода, канализации. Большинство из них почти круглый год ступает по земле босыми ступнями. Они не ведают, что такое одеколон и зубная щётка, а вместо мыла натирают руки глиной. Но при всей их отталкивающей негигиеничности, это какой-то поистине галилейский народ, необыкновенно выносливый, смиренный в своём наивном, непоказном боголюбии, способный на неподобострастное и даже великодушное отношение к немецкому воину, которого они умеют искренне пожалеть и... перекрестить на дорогу, как и своих детей, воюющих на стороне безбожного коммунистического сиона. Эти мемуаристы, воевавшие на разных фронтах, не стовариваясь, свидетельствовали по сути об одном: в деревнях и сёлах России под коростой примитивного быта они разглядели не образины дикарей, как были приготовлены увидеть, но лица, осенённые Христовой истиной. Миссионеры цивилизованного Запада, они опешили, очутившись как бы в другом совсем времени, — там, где ещё живы слушатели Нагорной проповеди. А если не опешили, то, по крайней мере, глубоко задумались. И надолго — вплоть до своих поздних признаний.

Может быть, он из их числа, мой загадочный офицерик?

Впрочем, и всяких иных предположений о цели его прихода я для себя в разные годы придумал ещё немало. Не тщетное ли занятие? Но почему-то оно меня никак не отпускало. В конце концов, он же мог в то утро просто прогуливаться по Фёдоровке без всякой задней мысли. И ему просто нравились такие деньки ранней весны — с лёгким тёплым туманцем во всё небо (как в родной его “Германии туманной”). Нравилась эта ватность в воздухе, не пропускающая немирные звуки, и он, допустим, проснулся после крепкого молодого сна с таким чувством, будто ни единого дня не был ещё на войне. И быть на ней не собирается, а если придётся, то никого не ищет ни убить, ни обидеть.

Громы войны уже покатали в сторону его фатерланда. Ведь на дворе стояло начало марта — судя хотя бы по дружным всходам озими на нашей усадьбе.

РАССКАЗ ПРО СОБАКУ

Поздним вечером было или на рассвете, — разве вспомню сейчас? — но однажды в большую комнату нашей хаты, при слабом свете керосиновой лампы, ввалилось и застыло у порога неизвестное мне существо в какой-то мятой шапке-ушанке, в грязно-бурой, тяжёлой, коробящейся шинели до пят. И почти мгновенно бабушка и мама, всплеснув ладонями, кинулись к этому замершему без движения существу. Всклипывая, что-то невнятное причитая, они принялись освобождать человека — мужчину или женщину? — от нелепого балахона. Тот будто изо всех сил сопротивлялся их стараниям, но, наконец, грузным комом рухнул на пол. Дедушка, до той минуты стоявший чуть поодаль, тут же нагнулся, проворно собрал одежку в ком и на вытянутых руках, не прижимая к себе, быстро вынес куда-то вон.

Тут бабушка, заметив, что я не сплю, глянула на меня такими чужими глазами, будто никогда до этой минуты не видела и не знала.

— Ты чего? — спросила она тихим, сердитым голосом. — А ну, лизь на кровать, закройся з головой и спи!

Я надул губы, но исполнил повеление. Уже с макушкой, накрытой одеялом, я продолжал хлопать от обиды ресницами и шмыгать носом. Почему мне нельзя посмотреть на то, что происходит, и узнать, кто же это пришёл? Разве я сделал что-то нехорошее?

Теперь голоса стали хуже слышны, но один, принадлежащий неизвестному человеку, я сразу уловил, потому что прозвучало моё имя. Этот глухой, хриплый, как из погреба, голос выговаривал слова медленно и через силу:

— Кто там?.. Ю-юра?

— Ну, да, — ответила мама, давясь слезами.

— О, ос-поди... и вин... тут?

— А дэ ж йому буты? — спокойно возразила бабушка. — А ну, снимай з сэбэ всё! Зараз нагреться вода.

— Та мэни ж... так... со-ром-но... Такэ... ху-дю-ще... кожа й кости...

Я слышал, как закрывают занавески на окнах, как дедушка запирает на засов входную дверь в хату.

Если они делают так — закрывают от посторонних двери и окна и греют воду для мытья — и если пришедшее к нам существо знает меня по имени, значит, это не какой-то чужой человек, — соображал я.

Беспокойство, любопытство и обида недолго одолевали меня. Под тихие всплески воды в большом тазу я заснул, так ничего больше и не узнав об этом загадочном человеке.

Лишь спустя годы мне стало понятно, почему мои домашние в ту военную пору вообще старались, чтобы я как можно меньше задавал им вопросов обо всём необычном, происходящем вокруг.

Но всё же на следующий день я узнал, что имя странного существа, пришедшего к нам неожиданно-негаданно, — Галя, но что мне её надо называть тётей, потому что она, оказывается, младшая сестра моей мамы.

Тётя Галя с утра спала, отвернувшись лицом к стене, на отдельной лежанке — в тёмном закуте малой комнаты. Когда меня позвали завтракать, мама своим строгим учительским шёпотом предупредила, чтобы я не беспокоил тётю Галю, не приставал к ней с расспросами, потому что она не очень здорова. Когда я сразу же — и тоже шёпотом — попытался узнать, почему тётя Галя не очень здорова, мама сердито цыкнула и даже стукнула меня костяшкой указательного пальца по лбу. Это была такая большая редкость в нашем общении с мамой, что я опять, как и накануне, надул губы и захлопал глазами. Но бабушка, сидевшая за столом напротив нас, покачала сверху вниз головой, одобряя мамин поступок.

Я решил, что раз так, то теперь совсем не стану даже близко подходить к тёте Гале, не то что расспрашивать её.

Но поскольку ни на улицу, ни в мастерскую к дедушке меня в те дни не выпускали, мне тоже не оставалось ничего другого, как отлёживаться на нашей с мамой кровати, отвернувшись, как и тётя Галя, лицом к стене. Иногда я всё же потихоньку поворачивался на шорох, доносившийся из её угла,

но она лежала почти так же неподвижно, в какой-то тёмной косынке поверх головы. И лишь изредка что-то невнятное бормотала глухим сиплым голо-сом, будто переговариваясь... Но с кем? Лежала она, свернувшись калачи-ком, и вовсе не выглядела такой громадной, как в час, когда вошла в хату. От неё будто исходило ко всем нам предупреждение: только не надо меня трогать, и я тоже не буду вам мешать.

Мне было и жалко, что тётя Галя хворает, и в то же время я немного обижался на неё из-за того, что с её появлением бабушка и мама как-то вдруг хуже стали ко мне относиться. Можно подумать, что и я не хворал до сих пор ни разу. То бабушка с мамой лечили меня от золотухи, то от стри-гущего лишая на шее, которым заразился на улице, погладив чужую кошку, а то раздевали догола и мазали, как ни стыдно было мне такое неприятное занятие, моей же мочой, противно тёплой и вонючей... Ну, разве же была моя вина в том, что тётя Галя, о которой я вообще ничего никогда не слы-шал и не знал, вдруг пришла к нам неизвестно откуда? Да ещё и больная.

Дни шли за днями, серые, знобкие, а тётя Галя всё никак не поправ-лялась. Если она иногда приподымалась, не покидая кровать, чтобы поесть что-то из тарелки, принесённой бабушкой или мамой, то в мою сторону не смотрела, будто и нет меня тут. Разве не обидно? Ведь тётя Лиза — тоже мамина сестра, но как она всегда со мной бывает ласкова.

Однажды я проснулся и увидел, что кровать, где лежала тётя Галя, пус-та и ровно застелена одеялом. В то утро не оказалось в хате и мамы, чтобы спросить у неё, где тётя Галя и поправилась ли она. Я уже собрался нару-шить запрет и спросить об этом у бабушки. Но она, заметив моё намерение, шумно вздохнула. И я понял, что и теперь не нужно ничего расспрашивать.

Нет, тётя Галя никуда не ушла от нас. Пусть её не было видно в днев-ное время, пусть и к ночи она редко появлялась, тихая, как тень, но я ино-гда всё же успевал краем глаза рассмотреть её бледное скуластое лицо, заос-трённый, с горбинкой, нос и всё ту же косынку на голове. Тихая, как тень... Но разве и бабушка, и мама не передвигались тогда по хате малозаметно, без лишнего шороха, не то что стука, — будто вот-вот готовы были исчез-нуть насовсем в тени сумерек?

Лишь через несколько послевоенных лет, когда мы с родителями жили уже в Москве, мама рассказа мне, откуда пришла к нам тётя Галя и почему я не видел, а вернее, не помнил её раньше. Рассказала о том, что до войны её младшая сестра, закончив Фёдоровскую семилетку, захотела учиться даль-ше и приехала в Валегоцулово, где я к тому времени родился. Мои папа с ма-мой поселили её в своей комнате, которую снимали у кого-то из местных жителей. У тётя Гали был весёлый безудержный нрав. Во время, свободное от курсов медсестёр, на которые поступила, она с удовольствием нянчилась со мной, давая моим родителям возможность то в кино сходить, то в гости к при-ятелям. Когда же началась война, её взяли медсестрой в Красную армию.

Случилось так, что их медсанчасть, — при этих словах своего рассказа мама начинала давиться слезами, — оказалась в окружении, и тётя Галя попала в плен к немцам. Вместе с нею в плену были ещё две сестры мило-сердия, её подружки. Мама не могла запомнить, когда эта беда случилась и в каком месте, и сколько длился тот плен. Но как-то медсестры почувст-вовали, что конвоиры проявляют к ним особое внимание. Они ютились тог-да в каком-то коровнике, спали вповалку на подгнившей соломе, не снимая своих провонявших шинелей, грязные, нечёсанные. И вот охранники заводят к ним учебную собаку, заставляют её обнюхать пленниц. Тётя Галя, расслы-шав, что немцы произносят слово “юде”, догадалась: собака способна опре-делить, кто из троих еврейка. Дело в том, что одна из девушек, точно, бы-ла из еврейской семьи, звали её Ида. Можно представить себе оцепенение пленниц. Они лежали, не шелохнувшись во время унижительных обнюжива-ний. Подруги не собирались выдавать Иду. Но они не знали, как поступит Ида, если собака покажет не на неё, а на кого-то из них. Промолчит или признается сама. И если промолчит, то как тогда поступить им? Наверное, из-за зловония, которое исходило от их тел и одежд, собака не сумела раз-личить запах, на который была натренирована. И тогда охранники, посове-

щавшись и посмеявшись между собой, сказали девушкам, что они могут убираться отсюда, куда угодно, и вытолкали на двор.

Так медсёстры оказались на воле, если можно назвать то нечаянное освобождение настоящей волей. Они остановились где-то на перекрёстке посреди пустого заснеженного поля и сказали: “А теперь, Ида, пойдём по своим дорогам, до своих домов, не обижайся”...

Вскоре после того, как Фёдоровку освободили красноармейцы, тётя Галя ушла за четырнадцать километров в Котовск, где участвовала в восстановлении госпиталя в военном городке. Там она и осталась работать медсестрой, там и вышла замуж за сибиряка дядю Лёню Акимова, который в сорок втором воевал под Сталинградом в дивизионе “катион”, а после войны, уже сверхсрочником, остался служить на Украине, в Котовском военгородке. Через два или три года к ним в Котовск перебрались из Фёдоровки и мои дедушка с бабушкой.

Однажды мы с мамой, приехав к ним из Москвы погостить, узнали, что тётя Галя только что благополучно разродилась мальчиком, своим первенцем. В утреннюю солнечную пору мама и я заспешили в роддом с букетом цветов и корзинкой домашней снеди. Соседки по палате подозвали тётю Галю к открытому окну, она крикнула своим звучным гортанным голосом, что сейчас спустится к нам. Пока шла двором, под тень большого каштана, мама попросила меня, чтобы я поцеловал тётю Гале руку.

— Зачем? — смутился я.

— Так надо. Она ж теперь мамой стала. Она мальчика родила.

Тётя Галя шла к нам лёгкой походкой, в светлом больничном халатике. Её короткой стрижки волосы золотились под солнцем соломенной копёнкой. Когда сёстры расцеловались, и очередь дошла до меня, я, после привычного троекратного целования, с неловким усердием поднёс напрягшуюся руку своей тётю к губам.

— Это зачем ещё? — отдёргнула она ладонь.

Тут же они занялись с мамой своими разговорами о новорождённом — о его весе и росте, о том, хватает ли ему материнского молока, и о том, что решили назвать его Володей, и о том, когда выйдут домой, и о чём-то ещё. А я стоял как вкопанный, и мне казалось, что краска стыда никак не отхлынет от моего лица после такого несуразного “целования”, отвергнутого тётю Галей.

Будто догадавшись о моей обиде, она вдруг обернулась, потормошила ладонью вихры у меня на голове.

— Ай да Юрасик, какой же ты у нас кавалер вырос!.. Когда я первый раз тебя в Валегоцулове увидела, то ты ещё и ползать не умел. А какой ты тогда мне подарочек замечательный преподнёс, помнишь?.. Ну, да откуда ж тебе помнить... Подняла это я тебя в воздух, одной рукой под попку держу, а другой — за спинку, так ты же мне — от страха или на радостях — целую жменю золота наложил.

При этих словах тётя Галя так заливисто засмеялась, такие вспыхнули искры в серых её глазах, что и мы с мамой заулыбались её неожиданному воспоминанию. И я с той самой минуты сполна уверился в маминых словах: да, у нашей тётю Гали удивительно весёлая, добрая, прямая, честная душа.

Как и тётю Лизы, как и мамы, их младшей сестрицы уже не в живых. Я часто её вспоминаю, и, пожалуй, хватило бы таких воспоминаний на целую книжечку, но чаще всего встаёт из прошлого тот день зимы сорок четвёртого года, когда она из последних сил добрела после плена в свою родительскую хату.

* * *

*Тётя Галя вернулась из плена.
Трёх медсестёр отпустили.
Их вытолкали из сарая,
где валялись в соломенной гнили.*

*Перед тем приводили ищейку,
чтобы вынюхать, кто из них юдэ.
Но пленницы так провоняли,
что собака — и та растерялась,
а подруги не выдали Иду,
и она о себе промолчала.
А когда медсестёр отпустили,
они вышли в пустынное поле,
будто в древнюю Палестину.
Две подруги сказали третьей:
“А теперь разойдёмся, Ида,
кто куда, по домам, по хатам”.
Так вернулась домой тётя Галя.
На участливые расспросы
неохотно она отвечает.
Но дойдёт до ищейки, и в горле
хрипнет голос её, застревает.*

ЗЕЛЁНЫЙ ГЛАЗОК

Под вечер хмурого сырого дня мне в который раз велено сидеть, а лучше лежать безвылазно в маленькой комнате. Потому что в большой — опять чужие. Вон они гремят табуретками, стульями, снимают тяжёлые шинели, что-то тяжёлое вносят, ставят на стол. Кажется, их там столько, что мне и ступить будет некуда. Да и как нарушу строгий бабушкин наказ? Разве лишь разгляжу что-нибудь в полуоткрытую дверь? Не я же её так оставил. Это кто-то из них, неразличимый в полутьме, распахнул, оглядел меня молча, хмыкнул и тут же ушёл к остальным.

Говорят на своём *гыр-гыр*, как бабушка называет их слова. Но почему-то негромко говорят. И смеха сегодня не слышно. Вдруг умолкли совсем, и в хату откуда-то издали начинают просачиваться едва различимые шипящие звуки. Там, откуда их наносит, тоже что-то гыргочут уставшими голосами. Мне кажется, они устали оттого, что исходят очень уж издали, из-за края света. Ослабевшие слова прерываются какими-то попискиваниями, щелчками, шуршаниями. Потом снова врываются голоса, но уже иные. Или даже звучит чьё-то пение, но оно тоже наполнено признаниями об усталости — будто сырой холодный ветер жалуется деревьям.

Странные звуки так меня почему-то беспокоят, что я забываю о бабушкином наказе. Вытянул шею в сторону двери, потихоньку подбираюсь к краю кровати. Очень уж хочется увидеть и услышать побольше. За столом, напротив меркнувшего света в окне, сидят два или три офицера: два — помоложе, а один — совсем старший, с седыми коротко стриженными волосами. О том, что они офицеры, я догадываюсь по погонам. Их витые светлые рёбра ещё проступают на плечах мундиров. На середине стола темнеет большой ящик, из которого и доносятся необычные голоса, щелчки, всхлипы, жалобное пение.

Но это вовсе не патефон, как у нас. Папин и мамин патефон, который я раньше так любил слушать, мама однажды упрятала под мою кровать. А попробовал было пожаловаться дедушке, но, по его объяснению, иступились все до единой иголки, которые помогали пластинкам звучать. И хотя он при мне пробовал заточить одну иголку рашпилем, пластинка от такой иглы только зашипела и тут же перестала крутиться. Теперь там же, под кроватью лежат в своих конвертах и пластинки.

Те трое, что за столом, сидят неподвижно, сгорбившись возле своего ящика. Кажется, больше всего их занимают не звуки, шевелящиеся в его тёмном нутре, а яркий зелёный глазок, который то вспыхивает, то прижмуривается и меркнет, то снова кладёт зелёный ответ на чей-то погон. В комнате и кроме этих троих угадывается присутствие других немцев, неотрывно

слушающих и глядящих в зелёную точку. Почему-то никто из них не просит бабушку зажечь керосиновую лампу. Да и где она сейчас, я не могу понять. Где все остальные — дедушка, мама, тётя Галя?

Я догадываюсь, в этот вечер накачивается для нас что-то новое, необычное. Не потому ли с середины дня начали дребезжать стёкла в доме, особенно жалобно вздрагивает то, что глядит в сторону дороги. И сама дорога, почти всегда пустынная, невесть откуда заполняется тёмными грузными тенями, насадным хрипом и рыком тяжёлого стада, будто подгоняемого каким-то громадным злобным пастухом.

Наконец, мне надоедает смотреть на моргание зелёного глазка, слушать дребезжание непонятных слов, скучать оттого, что родные оставили меня одного среди чужих людей и их непонятных звуков. Я прячу голову под одеяло, задрёмываю.

Но почти тут же и просыпаюсь. Во тьме не сразу удаётся разобрать, что на соседней кровати лежит головой вниз один из них. Он бормочет что-то, хрипит, а потом принимается стонать и выплёвывать из себя какие-то отвратительные зловонные комки. Они шлёпаются в таз, который принесла и пододвинула под него бабушка. Заметив, что не сплю, она сердито шепчет, чтобы я отвернулся. Да мне и самому противно слышать, как он рычит и плюется. У нас дома никто никогда так не делает. Но краем уха я всё же улавливаю, что в большой комнате все задвигались, загремели стульями. Неужели собираются уходить вместе со своим чёрным ящиком? Напоследок заглядывают и за этим, что валялся тут, в кителе и сапогах, в двух шагах от меня и гадил на пол. Со смехом грубо тормозят его, помогают встать и выйти следом за всеми на двор.

ИСХОД

Но на следующий день даже бабушкин самый строгий запрет не в состоянии был бы удержать меня взаперти.

Пусть и небо хмарное, и дождик, мелкий и колкий, — то утихнет, то опять припустит, — а я нахожу новые и новые поводы, чтобы выскальзывать из дому. Что-то необычайное, невиданное, приближение которого беспокоило меня ещё вчера, надвигается на нашу долину неудержимо.

Заглянув в мастерскую, замечаю, что здесь, как и в хате, стены и пол то и дело трясутся, отчего дедушка хмыкает в свои усы громче обычного. Он расхаживает взад-вперёд с руками, сцепленными за спиной, и вижу: ему не работается, не сидится под крышей. Когда он выходит на двор и сворачивает в проезд между хатой и мастерской, чтобы посмотреть на дорогу, я важным шагом, тоже с руками за спиной, следую за ним.

Но на месте дороги сегодня — чёрное чавкающее месиво. Расплёскивая его по бокам, откуда-то с пустых полей в село вползает бесконечное существо грязного, вихляющегося обоза. От неожиданности такого дикого зрелища мне хочется прищуриться. И тогда оно делается похоже на громадную сороконожку. Или на толстую пятнистую змею. Но если одолеть оторопь и не жмуриться, в этом существе можешь различать всё по отдельности: танкетку, наподобие той, что чуть не загорелась на нашем подворье, трактора, тянущие за собой пушки с длинными, как брёвна, стволами, телеги, ещё пушки, большие тупорылые машины-грузовики с солдатами наверху, а на обочинах — целые толпы пеших солдат, угрюмых, измызганных грязью, а за ними снова танкетки, грузовики, изредка легковые машины, и их сзади то и дело подталкивают по несколько человек, заляпанных жижей...

Эта жижа, похоже, хочет подобраться к самому рву, отделяющему просёлочек от нашего подворья.

— Утикають, — говорит дедушка. И помолчав, добавляет не очень мне пока понятное: — Ис-ход.

Сегодня немцам и румынам, что проходят и проезжают мимо, совсем некогда глядеть на нас, и нам поэтому не страшно, лишь тоскливо и угарно подолгу стоять у них на виду. От всхлипывающей, чавкающей, расквашенной

колёсами, ногами и копытами чёрной дороги наползают сизые зловонные клубы чада.

Не видно конца-края этому, как дедушка сейчас сказал о нём, исходу. Мы быстро изнемогаем от мрачного зрелища и уходим назад. Он — в мастерскую, а я задерживаюсь у двери коровника. Над яслями светлеют рога исхудалой Красули. Она отрывает башку от тощего навильника соломы и недовольно взмывает. Ей, наверное, скучно жевать старую сухую солому, но сено, что лежало для неё наверху, под крышей, закончилось, а молодая сладкая травка ещё не вышла на волю. По грустным глазам Красули вижу: ей тоже не нравятся тряская земля под копытами, противный запах, проникающий и сюда от дороги.

Мне кажется, всё сейчас томится и изнывает, устав от долгого ожидания: тёмные стволы акаций за хатой, куст сирени, вишни и сливы нашего сада, тучи над селом, все серые хаты, видные в долине, гора напротив нас, на гребень которой медленно вползает, шевелясь, топорщась дулами пушек, хребет нескончаемого обоза. Да и ползёт ли он? Может, застыл в изнеможении, не в силах вскарабкаться наверх? Может, сама земля, рассеяная от чуждой тяжести, не желает больше нести на себе груз гусениц и шин, замордованных тяжелозовов? И потому, сколько ни кидают в ямины соломы, хвороста, жердей, ящиков — всего твердого, что только попадаетея им на глаза, — она отказывается держать их на себе. И потому они бросают по обочинам заглушенные грузовики, обломки телег, скарб, сдохших тяжелозовов.

Уже в глазах у меня зарябило — от напряжения, от машинной гари. Уже шея устала то за хату глядеть, то снова на долину и на гору за ней, — а членистоногое чудище ползло и ползло на брюхе, оглашая село нутряным воем, выхаркивая смрад, подрагивая пятнистой, в сырых бородавках грязи, чешуей.

Как ни старались дедушка с бабушкой делать вид, что ничего необычного не случилось, что они заняты, чем и всегда, — по дому и возле дома, — но то и дело и они, как и я, поглядывали то на дорогу, что за хатой, то на дорогу, что карабкалась в гору. И я читал в их глазах тоскливое, из последних сил, ожидание: ну, когда же, сколько же ещё их тут пройдёт и проедет, когда же покажутся последние?

Уже, по всем приметам, и дневной немочный свет начинал иссякать, а они влеклись понурыми тенями, прибывали и прибывали. И не с того ли самого дня вошло в меня подспудное бессловесное знание, состоящее в том, что надсадно ждать никого и ничего не надо: чем сильнее ждёшь, тем ожидаемое сильнее сопротивляется. Нет, лучше оставь выглядывать и ждать, отвлекись на что-нибудь совсем иное, перестань ждать, перестань томиться — и разрешение придёт само.

Но что же вдруг за тишь такая, от которой в ушах звон? Надо же, пусто! На дороге за нашей хатой — пусто! Только жижа в колеях ещё кольшется, приходя ото всего в себя. А оглянувшись на долину, мы ещё застаём над горой, на низкой полосе убывающего света, самый хвост обоза, с какими-то царапающими небо горбами — то ли грузовиков, то ли самоходок, то ли походных кухонь. И подвижный, вихляющийся, как оглобля, чёрный ствол пушки.

ПАН

Разве не вчера ушли от нас немцы и румыны? Но какие перемены вокруг! Солнце будто пляшет над селом. Долина заполнилась мягким теплом, воздух ласково тормозит ветки садовых деревьев. Беззаботно купаются в лучах света жёлтые бабочки, и сиреневый куст набухает большими светлыми почками. На глазах высыхает исхлётанная колёсами дорога.

Но почему вдруг мама, налетев неизвестно откуда, больно дёргает меня за руку и, ни слова не говоря, тащит за собой в хату?

Двумя комками вкатываемся — из большой комнаты в малую. Ну, что я натворил такого?

Хочу спросить, а она затыкает мне ладонью рот, впихивает за угол платяного шкафа.

— Ну, що, старá?! — гремит из сеней, надвигаясь, чей-то мужской рык. — А тэпэр... нэсы мэни вэс исподне...

— Чие исподне? — чуть не плача, спрашивает бабушка.

— Та нэ твое ж, суко! Дэ ты заховала исподне... своего чоловіка, рас-таку його мать?..

— Нидэ я не заховала! Пидождіть, панэ, зараз прынэсу.

С этими словами бабушка кидается в нашу комнату, но, увидев маму и меня, торчащих в углу, в ужасе показывает нам ладонью, чтоб молчали. И сама тут же широко распахивает дверцу шкафа, чтобы прикрыть нас. И кричит:

— Зараз нэсу, панэ...

— Мэнэ, суко, нэ обманэш!.. Сам визьму.

Грохоча чоботами, он вваливается в комнату. Мы с мамой его не видим. А он нас?

Оттолкнув бабушку от шкафа, запускает руки на полку, где лежат чистые, отглаженные дедушкины рубашки. Мы слышим его сопение совсем рядом с собой. Он него нестерпимо разит — самогоном, табачищем, конским потом, вонючей овчиной полушубка. В щели между шкафом и дверцей промелькивает то бурая папаха, то багровая щека, заросшая серой щетиной, то громадные ручки с чёрными ногтями. Он комкает, рассовывает рубашки себе за пазуху. Одну, другую, ещё одну...

— А дэ ци... тьфу!.. як их... кальцоны? Куды заховала?.. Чи твий кол-госпнык кальционив не носыть?

— Та ось же воны, — услужливо подсказывает бабушка. И снова в голосе её — слёзная дрожь. — Бэрыть вэс, добрый панэ. Тильки чоловіка мо-го видпустыть... Нащо вин вам, старый?

И, уже топоча из комнаты на двор, “добрый пан” бросает в шутку:

— Нащо?.. А нэхай у лиси поживэ з намы, козакамы.

Мы с мамой стоим, не шевелясь. Боязно даже дверцей шкафа скрип-нуть. А вдруг вернётся?..

Но когда с улицы доносятся ржание и перестук лошадиных копыт, ма-ма решает: теперь и нам можно выглянуть из хаты.

Едва вынырнули на солнечный свет, становится ясно: зря она заторо-пилась. Крупный “пан”, потолстевший от белья, расованного за пазухи ко-жуха, до сей минуты никак не может вскарабкаться на коня. Бабушка моя бедная! Зыркнула в нашу сторону и, обхватив один его грязный чобот за по-дошву и голенище, с натужным стоном поднимает пьяного вояку наверх. Он, наконец, забрасывает вторую ножищу за лошажий круп.

Нам бы с мамой отпрянуть в сени. Но она уже не владеет собой. Снова рвёт меня за руку.

Проносимся мимо куста сирени. Выскочили на край дедушкиной пахоты, ещё невзборонованной, сырой. Споткнулись о первые же комья, застреваем в вязких бороздах. Хочу крикнуть: мамочка, что ты делаешь?.. ты же мне руку отрываешь!.. Но у неё самой так жалобно скулит в груди. И ей, и ей хо-чется закричать. Только этот, на лошади, он же сразу услышит, поскачет за на-ми... А не он, то какие-то ещё. Сколько же их? Кажется, все, ухмыляясь, смо-трят за нами!.. Откуда вдруг налетели? Забрали дедушку, хотят увести в лес... Мамочка, уже воздуха не хватает... Не одна рука, вся грудь болит. Ма-ма, ты же оторвёшь мне руку... Не могу больше бежать... Лучше упасть, лечь... Разве мы куда-то прибежим?.. И зачем, если дедушку забрали? Без них, без де-душки, без бабушки разве мы одни выживем?.. Мне уже воздуха не хватает, мама, бабушка... Воздух, да он же грудь мне распяливает... И ноги... уже не могу высовывать их из рыхлой земли... бабушка, помоги нам...

В ПОДВАЛЕ

Кто так мягко опускает меня под руки в тёмную прохладную ямину? Это она, тётя Лиза, крёстная моя. Только она всегда, сколько помню её, такая мягкая. Она и тут, во тьме, так ко мне добра и ласкова. Слышу, она груст-

ным своим мягким голосом просит кого-то, и нам с мамой зачёрпывают из ведра, приносят в ковше такой вкусной колодезной воды... По маленькой ручке, по голоску нежному догадываюсь: ну, конечно, это же она, сестричка моя любимая, Тамарка подаёт воду.

Пью жадными глотками, передаю маме.

— Та-мар-ка, — едва выговариваю дорогое мне имя.

— А?.. Що, мий Юрычок?.. Ты нэ злякався? — спрашивает она шёпотом.

— Ни.

Я совсем не испугался. Просто нам было так тяжело бежать. Мы почему-то кинулись поперёк поля, а легче было бы бежать к их хате тропую, по которой сама Тамарка обычно прибегала к нам.

Да, она всегда прибегала сама, и я, поджидая её на пороге, уже издали видел её подпрыгивающую из травы золотистую головку с развевающейся чёлкой. И сердце во мне при этом ёкало и подпрыгивало от радости. И нам всегда так славно было играть вместе. Она прибегала, не боясь даже немцев и румын. Прибегала даже по холоду, даже в темноте.

Однажды вечером вбегает, запыхавшись, а бабушка как раз огонь растопила в плите, чтобы больше тепла поскорей впустить в хату через духовку. Тут с плота и дедушка заходит. Садится поближе к плите, растирает руки, но никак не может согреться и просит, чтобы мы с Тамаркой, набирая из открытой духовки полные жмени горячего воздуха, подносили ему в карманы и под пиджак закладывали. Мы, чередуясь, так ловко согреваем дедушку в четыре руки, что он вскоре уже пыхтит в усы и покряхтывает от удовольствия. А бабушка, с мягкой улыбкой глянув на нас, произносит своё “Кумедия”.

— А тэнэр слухайтэ, диты, — откашливается дед Захар, пыхтит в усы и — начинает нараспев:

— Дедушка, голубчик, сделай мне свисток. Дедушка, найди мне беленький грибок... Ты хотел мне нынче сказку рассказать... Посудил ты белку, дедушка, поймать... Ладно, ладно, детки, дайте только срок. Будет вам и белка, будет и свисток.

Мы замираем в восхищении. Какая же необыкновенная сказка!.. Вот так дедушка! У него ведь сейчас получилось, будто это мы сами с Тамаркой просили не у кого-то, а у него разных себе лесных подарков. Каждое слово наших просьб было нам так понятно и дорого, что мы — и в этот вечер, и позже — при всяком удобном случае умоляли его рассказывать чудесную сказку снова и снова. И быстро запоминали — и про свисток, и про грибок, и про белку, которая, оказывается, как он объяснил, прыгает по лесу с дерева на дерево, размахивая пушистым хвостиком и собирая за щёки орешки. И, конечно, про само дедушкино обещание мы не забывали. Особенно же легко запомнила все слова Тамарка, так что научилась вскоре и вслух пересказывать.

Но теперь, в темноте, я собрался уже прошептать ей на ухо, что пьяный “пан”, от которого мы с мамой прибежали к ним, пригрозил увести нашего дедушку куда-то в лес. А что будет с бабушкой, тоже остаётся неизвестно...

Но не успел я и рта раскрыть, как вдруг откуда-то сверху, над подвалом раздался такой страшный треск, что мы все, кто тут сидел, в немом ужасе посыпались на землю. Почти тотчас с одного бока чёрная стена просела, и в темноту вонзился резкий, безразлично выщупывающий нас свет. Из щели зашуршала пыль и посыпались вниз сухие комья земли. Сразу запахло старой картошкой, плесенью. То самое солнце, что с утра так весело плясало в небе, сейчас сквозь завесу пыли будто пересчитывало без всякой жалости, кто тут прячется. Мы зашевелились, зачихали, закашляли. Кроме нас с мамой, тётки Лизы и Тамарки, в подземелье обнаружилось ещё многое множество народу — малых и старых. Кто лежал, свернувшись калачиком, кто сидел, скорчившись, бормоча что-то про себя. Но мы не успели опомниться. На дворе, под солнцем что-то ещё треснуло, сотрясло небо и землю громче любого грома — раз, другой, третий...

Лишь ближе к вечеру, когда неизвестно кем затеянная пальба вдруг прекратилась (кто считал, что стреляли минами, кто видел летящие сверху

самолётные бомбы), бабушка пришла за мамой и за мной. Она рассказала, что дедушка дома, но отсыпается в яслях, и будить его нам не нужно. Оказывается, эти бандиты, что вломилась утром на наше подворье, потребовали от него вина. Хорошо ещё, у него с зимы оставался целым маленький дубовый бочонок, зарытый где-то в лесу. Ему скрутили руки за спину, кинули на телегу своего обоза, пригрозили, что, если обманет, — там же, в лесу, на кол посадят... А когда откопали и распилили бочонок, принялись переодеваться в бельё, награбленное по хатам. Всё своё исподнее на них уже вшами кишело или сгнило... Напоследок кинули дедушке порожний бочонок, велели, чтобы в следующий раз готовил для *вильных козакив* посудину в два раза больше.

СЕМЕЧКИ ПОДСОЛНУХА

Иногда мне кажется: почти все детские свои годы, пришедшиеся на оккупацию, я проспал. Чтобы меньше видеть, меньше скучать, меньше бояться и меньше задавать ненужных вопросов.

Да и в ту ночь спал себе, спал на печи, в её тёплой пазухе, где так приятно пахнет нагретыми кирпичами. Но вот звук какой-то непривычный мягко вынул меня из сна.

По заведённой привычке я чуть приоткрыл занавеску, потому что звук шёл снизу, из хаты. Посредине комнаты, кажется, прямо на полу, горел фитилёк керосиновой лампы. Вокруг него выступал из мглы круг каких-то тёмно-серых неуклюжих тёток. Их было непривычно много, и они молча, сосредоточенно... лузгали семечки. Они были все в платках, шерстяных или суконных, в зимних одежках, телогрейках или овчинных шубёнках. И сидели почти ровным кругом, глядя на слабый огонёк перед собой. Кто на табуретке сидел, кто на лавке, а кто, может, и прямо на ряднах, которые бабушка настелила вместо испорченных немцами.

Поначалу я почти оторопел от их незнакомого спросонья вида. Но когда пригляделся, то различил среди них и бабушку Дашу, и тётю Лизу. И успокоился. Щёлканье семечек *соняшника* — кто же этой забавы не знает? Разве я сам никогда не жевал гогушки — очищенные от шелухи ядрышка семечек? Странность была в том, что они собрались для этого занятия таким большим кругом, да ещё посреди ночи, чуть ли не всем *колгоспом*, и лузгали молча, лишь иногда кто-то вздыхал.

Наши сельские женщины, может, вспоминая свои детские привычки, когда щёлкают семечки, не сплевывают шелуху на пол, а всякий раз кончиком языка пододвигают порожнюю кожуру на край нижней губы, и там это *шелуминня*, смоченное слюной, собирается, нарастает целой бородой и потом само отваливается на подол или на пол. Меня очень забавлял вид такой раз от разу вырастающей чёрно-серой бороды, и я сам, жуя семечки, с недавних пор старался, чтобы и у меня выросла борода подлинней, но это не очень получалось.

Но почему всё же они собрались посреди ночной темени? И почему молчат, отчего вздыхают?

Наверное, сама бабушка, пока с вечера топилась печь, нажарила целую сковороду семечек, и пришла старшая из дочерей — тётя Лиза, пришли соседки. Не могу различить, здесь ли мама и вышла ли тётя Галя. Нет, не вижу их. Мама хотя и любит, как я знаю, семечки, но при посторонних в руки их не берёт. А тётя Галя у нас медсестра и жевание семечек, как я тоже заметил, презирает.

И дедушки между ними не вижу. Да и что бы ему тут делать? Не мужское это занятие — лузгать *соняшник*. Может, в мастерской спит?

Меня и самого опять клонит в сон, потому что глядеть долго, как они всё молчат и вздыхают, скучно.

Но через какой-то срок я снова пробуждаюсь и вижу: внизу у них ничего не переменялось.

— Бабушка, та що ж такэ? — не выдерживаю я.

Бабушка Даша, а за ней и все остальные оборачиваются на мой обиженный голос.

— Та ничего... Спи соби на здоровля, — строго говорит она. Отирает от лужи подбородок, но снова, как и все, принимается за семечки. Но теперь мне уже не спится. Я ворочаюсь, тоже начинаю вслух вздыхать. Не оттого, что и мне захотелось семечек. Просто очень хочется узнать, почему это они молчат. Могли бы и поговорить, как обычно среди женщин, ну, хотя бы о немцах, о том, как они целый день ползли через село бесконечным обозом, и только к сумеркам ушли самые последние... Или о тех пьяных грабителях и о той бомбёжке, что была совсем недавно. Или о вчерашней ночной страшной стрельбе, когда над долиной пролетали в тучах визжащие железяки. Мы сидели с дедушкой на нашей глиняной завалинке, потому что внутри, в комнатах или на печи было бы ещё страшней, а дедушка своими тихими объяснениями и покашливанием меня успокаивал.

— Чуешь? Як гром грымыть... От, железяка скажэна! — мотал он головой, будто восхищаясь дикими звуками. — А ось цэ? Мов свынья недоризана...

— А можэ, то якесь колесо скаче з горы у дольну? — старался я поддержать его шутку.

— Може, й так, — соглашался дедушка Захар. — З той стороны бьютэ наши, — кивал он на гору, что темнела у нас за хатой. — А з той — воны.

— Нимци?

— Ну да. Воны.

— А можэ, ци — паны?

Дедушка хмыкал насмешливо:

— Та яки ж воны паны? Так, бандюки.

— А що ж цэ такэ важкэ бье? — допытывался я.

— Ар-ти-ллeрия, — произносил он красивое, но непонятное мне слово. —

Пушки у нимця бачив?

— Ну, бачив.

— То воно и е. Ар-ти-ллeрия... А ти железяки — снаряды. Не дай Бог, стриху нам пидпалять.

— Та воны ж дэсь высоко, далэко, — храбрился я изо всех сил.

— Высоко та далэко, — соглашался он. — А комусь и близько.

Так мы разговаривали негромко, и я уже почти начал привыкать к этим визгам, свистам, воплям, тяжёлому уханью и скрежету, раздрающим небо. Потому что дедушкино присутствие, его тихий говор убеждали меня, что с нами никакой беды уже не может больше случиться.

Но тут враз стало тихо. Тишина заполнила всё беззвёздное небо, будто невидимая вата укутала долину. Тогда, подождав ещё немножко, громко зевнув, он сказал:

— Ну, ступай до хаты.

...Тихо за окнами и сейчас. Почему же они сидят молча, и только раз от разу вздыхают? Но вот кто-то из них оглядывается на тёмное окно, прислушивается. Отчётливей затикали в углу под иконой, будто расщёлкивая кожуры секунд, настенные ходики, подгоняемые тяжёлыми гирьками.

Тик-тик... Щёлк-щёлк...

Все в комнате как-то разом опомнились, стряхивают с подолов сор на пол, замирают. Только бабушка шелестит веником, чтобы собрать в совок горку мусора и высыпать в печное остывшее нутро. А потом снова садится рядом со всеми. И уже не лузгает никто.

Прислушиваюсь и я. Нет, ничего за окнами не слышно. Совсем ничего.

Но кто-то из них шепчет, и мне кажется, это бабушкин голос:

— Ша, дивчата... нэна́че... наши йдуть.

Кто идёт? Никто там не идёт.

Но они почему-то сидят все вместе и молчат.

Я забираюсь с головой под тулупчик и быстро забываюсь в его мягкой, тёплой темени...

НАШИ ЙДУТЬ. СЕДОЙ

Но утром озадачивает меня присутствие в хате каких-то ещё людей. По привычке выглядываю в щёлку и вижу: они тоже в военной форме. Но не такой, как у немцев или у румын. И говорят вроде бы на понятном языке, какой я уже слышал от деда Захара, когда он рассказывал нам с Тamarкой про “белку и свисток”. Или на разных папиных и маминых пластинках слышал. Значит, эти и есть наши?

На всякий случай, я не спешу подавать голос. Мало ли, кто они? Тот, пьяный, в грязном вонючем тулупе, что запихивал себе за пазуху дедушкины рубахи и другое исподнее, тоже ведь был не немец, не румын. Но разве он был наш? То банда была. Для меня наши — это мой отец, которого я совсем не помню и не могу представить, какой он из себя, и ещё дядя Боря, мамин брат, и дядя Ефим Кущенко, муж тётки Лизы. Я уже слышал, что они — на фронте, но мне ведь запрещено было расспрашивать и рассказывать о том, что такое фронт. Да кому и как расскажешь, если я даже не умею себе представить, где он, фронт? Недавно я застал бабушку Дашу за разглядыванием необычной картинки с чёрно-белыми людскими фигурками на её блестящей стороне.

— Дядя Боря, — показала она, не прикасаясь, пальцем на красивого коренастого военного.

Дядя Боря стоял в тёмной гимнастерке. Широкий пояс был так туго затянут у него на животе, что, казалось, он только что сделал глубокий вдох, а выдыхать воздух совсем не собирается.

— А цэ кто? Мий батько? — спросил я, показывая на другого военного, стоящего рядом с дядей Борей. Он был повыше ростом и показался мне ещё более красивым.

— Ни, цэ хтось другой, — помотала головой бабушка.

— А дэ воны стоять?.. Там що?.. Фронт?

Бабушка оглянулась на окно, хотя в хате и за окном никого не было:

— Ша... Мовчи.

И отправилась в свою с дедушкой комнату, чтобы спрятать картинку.

Мне стало обидно: всё молчи и молчи. Я надул губы и вышел на двор. А когда через время снова заглянул в хату, бабушка Даша сидела перед устьем топящейся печи без платка, расчёсывала на одну сторону деревянным гребнем свои длинные полуседые волосы, и я увидел в свете печного огня, что из глаз у неё текут слёзы. А ведь она при мне никогда раньше не плакала. Разе лишь однажды, когда на патефоне ещё оставались иголки, и чей-то красивый женский голос запел печально — “Трачу лита в лютим гори, тай кинця нэ бачу. Тилики тоди и полэгша, як тышкóм поплачу”... И то слёз бабушкиных я не увидел. Она просто стояла лицом к окну и пошмыгивала носом.

Заметив, что я вернулся, бабушка утирает лицо тыльной стороной ладони, заматывает волосы на голове, забирает под платок и шепчет:

— И колы вжэ воны прыйдуть, Господи?

...И вот теперь вижу, какие-то военные пришли. Но откуда мне догадаться, что это и есть те наши, о которых ночью вздыхали и шептались женщины? Если бы это точно были наши, ко мне тут же и подошли бы, все вместе — мой отец, дядя Боря, дядя Ефим Кущенко.

Лучше мне ещё потерпеть, не спускаться вниз неизвестно к кому.

Тут шевеление моё замечает один из них, делает шаг к печи и распахивает занавеску. У него светлые, как ржаная солома, прямые и длинные волосы. Красивым махом шеи он отбрасывает волосы со лба назад и улыбается мне:

— Эгей!.. А ты что тут, на целый день залёг?.. Петушок пропел давно... Уж не заболел ли ты у нас?

— Ни, — набыхиваюсь я.

— Ни?.. Вот и молодец! Тогда действуй! — он протягивает руки к лужанке. — Прыгай прямо ко мне.

— Ни, — и я отползаю от края.

— Опять “ни”? Ну, почему же “ни”? — продолжает он улыбаться во все зубы.

Я хмурюсь ещё больше и вдруг сердито выпаливаю:

— Бо в тэбэ воши!

— Что?.. Что ты сказал?.. Это у меня?.. вши?!

От обиды он забывает отбросить назад свои светло-золотые рассыпчатые, будто совсем недавно высушенные после мытья волосы. Они закрывают ему лоб, брови, но всё равно я вижу, как он густо краснеет.

— Ага. Воши, — неуверенно шепчу я.

— Ах, вот оно что!

Он отшатывается от печи, решительно шагает к бабушке, которая как раз каталкой раскатывает на столе тесто.

— Тётя!.. А почему это ваш внучок считает, что у меня — вши?

— О, Господи! — всплескивает она ладонями, и щёки её тоже заливаются краской стыда. Она что-то негромко объясняет военному, и я вижу, как он раз и другой строго озирается на меня.

Затем бабушка подходит вместе с ним к печке и говорит мне сердито:

— А ну, давай, глазь и нэ дуркуй!.. Хиба ж не бачишь? То наши... Наши прыйшли, зрозумив?.. Руськи, Красна армия... Дай Бог, скоро и батько твий вэрнэться.

...После завтрака он выводит меня за руку на двор.

День стоит тёплый, но серый, а он всё равно щурится от света, набирает полную грудь воздуха, шумно выдыхает.

— А ну, показывай, выросло тут у вас что-нибудь или ещё не выросло?

Берёт мою руку в свою, и мы идём в сторону грядок. Как бы хорошо, думаю я про себя, чтобы вот таким был и мой отец. Таким же весёлым военным, с такими же светлыми длинными волосами, которые смешно норовят упасть ему на лоб, а он их так красиво, будто жеребец свою подстриженную гривку, закидывает назад.

Возле ближней грядки он, скрипя голенищами сапог, присаживается на корточки. Я вижу у него на плечах погоны, и на каждом — по три маленьких зелёных звёздочки.

Теперь лицо его почти вровень с моим. В светлых глазах его играют радостные искорки. Он озирает грядку и недовольно хмыкает, потому что на чёрной земле видны следы чьих-то чужих сапог. Я хочу пожаловаться ему, что это немцы натоптали, когда неслись, чтоб загасить свою танкетку. Но сочные зелёные стрелки, хотя бабушка ещё не успела выровнять землю, всё равно вытягиваются вверх.

— Ишь ты, какой лук! — восхищается он, будто впервые в жизни видит грядку.

— Ни, — поправляю я его. — Цыбуля.

— Да лук же это, лук!

— Ни, цыбуля! — упираюсь я.

Он хохочет, поднимается во весь рост, хватая меня подмышки, легко отрывает от земли.

— Может, тебя так и прозвать надо: хлопчик Ни?.. Ладно, будь по-твоему. Цыбуля так цыбуля!

Мне хорошо сидеть у него на груди, и я робко прикасаюсь щекой к его светлым шелковистым волосам. Жаль, ни Тамарка, ни кто другой из фёдоровской малышни не видят, как хорошо мне сидится на его руках.

И так жаль, что в этот же самый день он уйдёт с нашего двора навсегда.

Позже, через несколько лет, уже в московские свои годы, я буду — с тайным желанием узнать его — всматриваться в лица военных и гражданских молодых людей со светлыми длинными волосами. Но лишь один-единственный раз мне померещится: а что, если это он?

Отец взял меня на трибуну стадиона “Динамо”. Играла наша с ним любимая команда “ЦДКА”. Из семи безответных голов, забитых ею в этом матче, больше всех, кажется, четыре, было на счету у нападающего со светло-

золотистой копной длинных прямых волос, которые он то и дело небрежным движением головы откидывал назад. Имя забыл, а фамилия его была Коверзнев. После каждого мяча, вколотенного им в чужие ворота, она громко звучала из репродукторов. Бывалые болельщики с нашей трибуны, сплошь болевшей за армейскую команду, с любовью и восхищением называли его “Седой”.

И, напоследок — кое-что о щёлканье семечек... В начале девяностых годов ушедшего века я вдруг стал замечать, как много на московских улицах, в подземных переходах, в вагонах и тамбурах электричек валяется шелуха от подсолнуха, как много везде — у входа в метро, на любом людном пятачке — появилось тётко с юга России или с Украины, продающих жареные семечки врассып, маленькими стаканчиками или в бумажных кульках, и как много вдруг повсеместно нашлось охотников до этого немудрёного, самого простонародного, в иные времена презираемого лакомства. И невольно мне вспомнилась наша хата в Фёдоровке, на месте которой уже давно растёт бурьян. И, кстати, вспомнились многочисленные письменные рассказы, о том, как ошеломляюще были замусорены подсолнухом улицы двух российских столиц в годы революции и гражданской войны.

А вспомнив эти, вроде бы не так уж и связанные друг с другом времена и обстоятельства, я, совершенно неожиданно для самого себя, сделал вот какой вывод: выходит, что, по крайней мере, у нас, в России, лузганье семечек не раз и не два оказывалось чуть ли не главным средством народной самозащиты от навалившихся непереносимых бед и наваждений. Пусть называют это занятие плебейским, неприличным, а оно, выходит, — лучшее терапевтическое средство от вопиющего неприличия, которым обрастает, как коростой, сама действительность. Своего рода массовое юродство, самый простецкий социальный протест: ну, что, великие и всемогущие, кичащиеся богатством, властью, безмерной своей силой, — поплёвываете на нас?! Поплёвываете и думаете, что притерпелись и уже не замечаем? Так вот же, получите: и мы отплюёмся, отшвыряемся лузгой от всех вас! Жуюм себе потихоньку, жуём, и светлое подсолнечное молочко исподволь исцеляет нас от вашего наглого, но временного всесилья. Успокаивающая монотонность жевания позволит нам дотерпеть, дожидаться, когда вы, наконец, сгинете, сами превратитесь в шелуху, в прах и тлен.

Так что, тётка, приехавшая в Москву с мешком подсолнуха за плечом, “щоб заробыты якусь копийку” и тем самым уберечь свою семью от нового самостийного голодомора, насыпь-ка и мне, пожилому уже человеку, в карман стаканчик ещё тёплых после сковороды семечек.

СЖИГАНИЕ ЛОЗ

С каким рассеянным прищуром греет сегодня солнце дедову старую кепку и мою макушку!

Сколько невидимой доброты разлито в шевелении воздуха!

Что за ласковое, мягкое тепло с утра пораньше разлилось во всю ширь небесного купола, до самых его краёв! До тех краёв, за которыми, как я знаю про себя, больше уже ничего не бывает, потому что разве мало нам всем и этого света?

От колодца по межевой тропе мы поднимаемся с дедом в гору мимо соседских подворий и огородов. Он идёт первым и как-то особенно сосредоточенно похмыкивает про себя. Левый карман его потёртого пиджака топорщится. В мастерской ещё, перед дорогой увидел я, как он сунул в этот карман какие-то ножницы с короткими, загнутыми в одну сторону лезвиями, похожие на птичий клюв.

Для чего они, такие? Куда мы идём? Спросить бы? Да уж очень много по пути всего вокруг разного-преразного, что и спрашивать некогда.

Одних только бабочек в небе сколько! Вот уж кто умеет радоваться внешнему теплу! В их прихотливых перепархиваниях с места на место — такое беспечное веселье, такая кружащая голову свобода, что и я начинаю при-

прыгивать на ходу, взмахивать руками. А что, если бабочки даже умеют петь, перекликаются с птицами, с петухами и с выводком жёлтоклювых цыплят, что перебегают поперёк тропы вслед за сварливо шипящей квочкой?

Разомлевший воздух кишит ласточками, скворцами: где-то в подоблачном мареве висят невидимые жаворонки и безостановочно просыпают на нас свой свежий серебряный хохоток.

Но скворцы-то, скворцы, — как их только земля всех умещает! Сытые, довольные, с каким-то фыркающим, журчащим звуком проносятся тучами с огорода на огород, расхаживают вразвалочку по грядам, молча вертят глазками с боку на бок, выискивая в земле какое-то с осени сюда запавшее семечко. А то враз облепят ближайшую грушу. А то копошатся по старым скворешням, шипят по-кошачьи. Или вдруг примутся орешки, что ли, расщелкивать? Иногда, если прижмуришься, покажется: это не скворцы вовсе, а пригоревшие куски сала шкворчат на большой сковороде.

А свежие ростки трав вдоль тропы! И на эту братву готов я пялиться неотрывно. До чего все нарядны, каждая в свой цвет: ярко-зелёные, жёлтые, розовенькие, сочно-багряные, в масть свекольной мякоти... Ай да травки! То узкие как иглы, а то наподобие изогнутых птичьих коготков, клювиков, плотно сжатые или жадно разомкнутые, будто для хватания пищи. А то какие-то диковинно заломленные, будто петушиные гребешки... Да не от них ли самих исходят все эти звуки дня: трогательное попискивание, залихватские трели, шорохи, скрипы, треск, взвизги, шкворчание, пересмех, перепорх, блаженные вздохи, детское покряхтывание, потягивание в тёплых земляных кроватках?

От них, наверняка, от них! Только мне прислушаться некогда. И некогда подглядеть за каждым ростком, бережно наклоняя над ним, затаив дыхание, чтоб не спугнуть. Уж тогда бы я наверняка увидел, как они раззевают навстречу солнечному дыханию свои клювики, как наливаются алым соком их гребешки и хохолки, как протыкают зелёные шильца, жалыца, иглы и острые язычки всё, что мешает им на пути к свету: старые жухлые листья, какие-то усохшие стебельки, всякую травную рухлядь, прошлогодний сор и хлам, и как медвяный прыткий коготок, поднатужась, отваливает в сторону целый ком земли.

Вприпрыжку нагоняю деда, потому что он, вижу, остановился, крутит головой то ли с восхищением, то ли с укором:

— Ого! Яки ж воны повырастали!

— Кто, диду? — озираюсь и я на всякий случай.

— Лозы.

Он окунает левую руку в карман, достаёт оттуда ножницы-кривули (дедушка у нас, как говорят дома, *ливша*, значит, всякую работу делает левой рукой, а правой лишь помогает). Несколько раз щёлкнув в воздухе ножницами, проверив, не потеряла ли упругость пружина, которая их разжимает, он свободной правой подхватывает ближайшую к нему краснокожую ветку, что красивой полудугой отвисла от невысокого, похожего на необструганную деревяшку стволика.

Не успеваю и глазом моргнуть: лезвия звонко клацают у самого почти ствола, а гибкий прут летит к моим ногам.

Поднимаю его, разглядываю. Это и есть лоза? Обычная вроде бы ветка, но — ещё и лоза. От неё, особенно от срезанного места, исходит кисленький, удивительно жалостный дух. Так почему-то и хочется лизнуть срез прута. Да и на вид лоза мне очень-очень нравится. Это не то, что всякая другая ветка — яблоневая, сливовая, дубовая... У лозы прут чистый, без шипов и грубых наростов. Она гнучкая, эта лоза, с вишнёво-красной, младенческой какой-то кожицей, чуть растрескавшейся там и сям. А ножницы дедовы клацают почти непрерывно, да ещё со щегольским птичьим прищёлком.

Гляжу: утолщённая макушка стволика затопорщилась множеством отростков-коротышек. Жалкий обкорнанный уродец — вместо пышного, прыщущего лозами во все стороны куста. И для чего так?

Но дедушка пыхтит в усы довольно:

— О-о!.. К осэни будэ добрый виноград.

И отходит к следующему кусту. Снова заполняют воздух весёлые сочные щелчки. Но мне досадно. Вернуться домой, оставить его одного? Ишь, какие дела: он собрался обстричь все-все лозы, все-все кусты подряд? А тут их во-он сколько! В три или четыре линии выстроились, один стволлик за другим, от нас — и выше в гору. Беспокойство то проникает в меня глубоко, то отпускает. Разве мой дед может делать что-нибудь плохое? Я никогда не видел, никогда ни от кого не слышал о нём, чтобы он сделал что-то плохое.

Кляц-кляц!.. Цыть-цыть!..

Я, наконец, не выдерживаю, окликаю его дрожащим голосом:

— Ди-и-иду?

Он оборачивается, глядит с недоумением. Хмыкает, наклоняется до земли, сгребает целый пучок только что срезанных прутьев. Не спеша идёт в мою сторону.

А подойдя, чуть не раздражённо трясёт в воздухе пучком лозы.

— Щоб ты знав: цэ вэ старэ... Старэ, розумиеш? Воно не дасть бильшэ доброго плода.

Небрежно кидает пучок под ноги, подгребаёт к нему прутья от ближних обстриженных стволов. Потом распрямляется, снимает со своей взмокшей лысины кепку, отирает сырой лоб рукавом пиджака, крестится мелким крестом и говорит как-то не по-своему, торжественно.

— ...якоже розга изсохнет, то собирают ея и во огонь вметають... И сгорает!

Прислушивается, будто и сам хочет лучше разобраться смысл этих необычных в его речи слов.

Но, нахлобучил на лоб кепку и уже обычными своими всегдашними словами заговорил:

— А дэ ж вогонь? Трэба ж вогню запалыты.

Трешат в его ладонях ломкие стебли прошлогоднего бурьяна. Я тоже, на дедушку глядя, сгребаю на меже всякую травную ветошь, подпихиваю сухие эти комки под горку хвороста. Дед уже извлёк из внутреннего кармана серую тряпицу, в которой у него, знаю, хранятся кремь с огнивом и ветошь. С помощью их он искры огня высекает, когда нужно сигарку запалить.

Но кусок тёмно-рыжей ветошки ему теперь даже не понадобился.

Чирк-чирк!.. Сухие стебли, листья с едва слышным писком скруживаются в спиральки, седые, чёрные. Узкая змейка дыма, минуя прутья, проворно пробирается наверх. Первые оранжевые языки пламени исчезают вместе с дымом, но это не значит, что костер тут же и угас. Просто огонь стал настолько ярким, прозрачным, что его вообще не видно. Но только протяни туда руку — сразу укусит. Прекрасные мои лозы начинают в плавящихся струях жара потрескивать, пошипывать, изгибаться, лопаться.

А он снова ушёл вперёд, опять звякает проворными лезвиями.

— Давай — сбрай всю лозу до вогня! — кричит мне. — Щоб нэ згасло.

Моей досады как не бывало. Я улыбаюсь до треска в ушах: теперь и для меня есть дело!

Не торчать же всё время на месте, глаза на огонь! Я кидаюсь к обстриженным кустам, нагребая охапки прутьев побольше, тащу к костру. Нужно лишь постараться свою ношу подкидывать на самую середину, а то огонь уже, оказывается, проел малую дыру в груди лозы.

— Щёлк-щёлк! — хохочут кривули-ножницы в дедовой руке. Звуки лопаются в воздухе, будто поддразнивая друг друга. — Щёлк-щёлк?.. А що? А що?.. А ничего! А ничего!

Я сную взад-вперёд — ещё! ещё!

— Щёлк-щёлк! — трещат ветки в пламени. Выстреливают угли, вонзаются в рыхлый пепел.

— А що цэ такэ?.. Що цэ такэ? — подсмеивается над нами скворец, чёрно-блестящий, как головешка, выкинутая из печи.

Чем быстрее ношусь я от дедушки к огню, тем прожорливей становится костёр. Уже широкий круг седеет в его середине трубочками пепла. Значит, надо подгребать на порожнее место груды прутьев, что остались по краям кострища. Но я немного побаиваюсь. Жар так и пышет в лицо, щиплет руки.

А дед? О-го-го, как далеко он уже поднялся в гору! И удивительно, подстриженные им стволы-болванчики больше не кажутся мне уродцами. Они будто страхнули с себя то, что мешало им шевелиться, путалось в ногах. Для них, похоже, начинается теперь какая-то новая, бодрая, даже весёлая жизнь.

Игра огня всё более привораживает меня. Одурманивает голову вешний свет, горячий воздух, источаемый лозами дух с кислинкой...

И как-то забываю про всё, про всех. Таинственная власть прозрачного пламени, струи жара, плавящие небесное стекло, отделяют меня от всего мира. Сплю ли с открытыми глазами? Ожидаю ли чего-то необычного, чудесного? Или просто-напросто нежусь в объятиях всевластной лени? Не знаю, сколько времени длится это забытьё, пока ровно нарастающий шум, как дыхание большого ветра, не накрывает меня...

Это дедушка, оказывается, приволок огромную охапку веток, из-за которой сам едва виден, — чтобы накормить напоследок огонь досыта.

И уж потом вялого, переполненного вешними шумами, звонами, дуновениями, отводит меня домой.

ДОБРО

Сухой жар весеннего полдня. В такую пору, кажется, не только у меня, но у всего живого глаза слипаются, — у кур, у цветов, даже крылья у жёлтых бабочек не хотят распахиваться. Теперь бы в хату, в синюю её прохладу, да подремать властью на своей малой кровати.

Но бабушка не позволяет. Пока мама в школе, а дед куда-то по своим делам отлучился, она устраивает в хате такой грохот и переполох, будто на всех осерчала и собралась всё-всё повыкидывать насовсем. Одни, что ли, голые стены оставит? Ну, всё, не всё, а, вижу, уже гора нашего добра вывалена на дворнице в самых обидных для их внешности видах. Стулья, табуретки, лавки, кочерги, ухваты, полосатые рядна валяются кое-как: что вверх тормашками, что друг поперёк дружки, а что даже не на траве, а в самой пылюке. И моя кровать тут же, торчит на боку, не разберёшь, где одеяло, где подушка, где матрац и простыня.

За что им всем, и нам тоже, такая немилость?

А вот за что. Бабушка, оказывается, к празднику, к *вэлыкому святу**, задумала во всей хате обновить свежей промазкой наши глиняные, за зиму там и сям растрескавшиеся полы. Вот она и носится, запыхалась, раскраснелась, выкидывает наружу всё, что мешает ей дорваться до порожних полов.

Гляжу, уже и веником в коридоре машет, и совком подгребает. Тяжёлые, явно недовольные таким беспокойством серые комки всяческого мусора очумело вылетают за порог.

Я сижу в тени сирени, рядом с одеялами и искося поглядываю за бабушкой: что ещё она придумает? Тень от сиреневого куста ещё не густая, и мне скучно сидеть тут и ничего не делать. А она тем часом уже присела на корточки, принялась размешивать в старом тазу сырые комья глины, и раз от разу малыми струйками из кувшина ещё подливает в таз воду. И месит, месит, месит руками, будто муку для пирога или вареников.

Тут как раз из-за хаты доносится полусонное тарахтение чьей-то телеги на дороге. Бабушка выглядывает за угол и вдруг подманивает меня рукой, выпачканной в глине.

— Бачишь на дорози конячу кучу?

— Ну, бачу.

Зеленовато-рыжая куча, и точно, лежит поверх пыли свежим, ещё чуть дымящимся караваем.

— Визьмы ось цэ порожне вэдэрко и прынэсы мэни ту кучу.

— Ни, — отвожу я глаза в сторону. — Нэ хочу.

— Чому?

— Та то ж... гимно.

* Воскресение Христово.

— Э-э-э, — в досаде качает головой бабушка. — Сам ты... знаешь кто? Цэ — добро! Зрозумив? До-бро!.. А ну бижы швыдче!

Нахмурилась, замахивается лоснящейся от глины рукой, — вот-вот шлёпнет меня по штанцам.

Я нехотя беру ведро за дужку, плетусь в сторону дороги.

“Добро”? А то я не знаю, что такое добро? Вишни, сливы, яблони у нас в саду, хотя они только зацвели, вот оно добро! А эта пакость, которую мне велено собрать в ведро? Ладно бы ещё какой-то лопаткой сгрести, а то иди и дотрагивайся до вонючей кучи голыми чистыми руками.

Но как ослушаюсь бабушку? Не могу же я поверить, чтобы она для чего-то надумала посмеяться надо мной, осрамить перед соседями. Раз велела, надо выполнять. Я же сам сколько раз видел, как дедушка, что-то про себя похмыкивая, но без всякого недовольства на лице, выгребает вилами из коровника Красулины блины, втоптанные ею за ночь в солому. И относит тяжёлые навильники к ближнему углу поля, где снова накапливается у него тёмная горка перегноя. Потому что старую гору ещё после зимы все наши взрослые однажды за какой-то час разнесли вилами и разбросали по всему полю перед вспашкой. А ещё видел, как тот же неутомимый дедушка подтаскивает тяжкие сырые навильники за хату, где у него расставлены на ровной порожней земле деревянные рамки, и он их заполняет поровну этой ношей. По его объяснению, когда коровяки высохнут, станут кирпичиками-кизяками, можно будет ими топить нашу уличную печку-кутуню.

Но то взрослые дела и заботы. А я вот приплёлся и стою чурбачком, будто мне велено сторожить её, эту кучу, целый день. Да что там, вблизи она нисколько не страшная. Только побольше и погуще, чем жидкие коровьи нашлёпки, в которые так противно бывает нечаянно вляпаться. Я озираюсь по сторонам: не подглядывает ли за мной кто-нибудь из соседских детей? Но дорога безлюдна. Только бабушка разогнула спину и глядит — то ли на меня, то ли куда-то мимо. Деваться некуда. Я окунаю пальцы в ещё тёплую, пахнущую конём и травами рыже-зелёную ковригу и за три или четыре раза переваливаю всю её в ведро.

Бабушка с чуть растопыренными, побелевшими от глины пальцами ждёт меня.

— А тэпэр дывысь сюды.

Она накрывает ведёрко над тазом и почти треть навозной кучи вываливает на глиняный замес. И снова принимается месить, месить, подливая по-немногу воду.

— Бэз такога добра, — объясняет, переводя дыхание, — глына, як пидсохнэ, зараз полопаецця, розтрискаецця... А навоз дэржэ глыну, мов найкрепшый клэй. Зрозумив?

Вымесив содержимое таза до нужной мягкости, она уносит своё изделие в глубину хаты. Я беззвучно слеую за ней и вижу: грузно опустившись на колени, она окунает в таз мокрую мешковинку и начинает — с самого дальнего угла большой комнаты — мягкими полукругами замащивать старый морщинистый пол свежим густым замесом. Мне неловко беспрерывно пялиться на бабушкино занятие, и я так же тихо выбираюсь на двор.

Но даже отсюда слышно, как воздух в хате заполняется бодрым духом быстро затвердевающей промазки. И — странное дело! — я уже не улавливаю в этом запахе совершенно ничего, что бы меня возмущало или корбило, но, наоборот, даже различаю ароматы каких-то полевых стеблей и цветков, пережёванных доброй колхозной конягой.

Полы быстро просыхают досветла. Не проходит и часа, а бабушка уже промазывает их поверху новым свежим слоем. И, напоследок, ещё одним. Я то выхожу на двор, чтобы послушать, не проехала ли по дороге какая-нибудь другая телега, то издали наблюдаю за бабушкиными трудами с порога. Когда, наконец, она выплывает из хаты с тазом, прижатым к бедру, вижу: в нём остался самый малый остаток замеса.

Даже я устал сегодня от таких её обильных хлопот и от своего в них, как выяснилось, неожиданно важного участия. Но вижу, бабушка так разгорячилась, что тут же принимается придирчиво озирать южную стену хаты,

выискивая на извести трещинки, даже самые малые. И уже окунула тряпицу в таз, одну за другой выводит на стене тёмные кривые загогулины.

— А цэ для чога? — расстраиваюсь я, потому что такая была белая и чистая стена...

— А як ты думав? Все люды добри биять свои хаты к *велькому святу*, а мы? До завтра посохнэ, и прымемось за дило.

...Ближе к вечеру, когда возвращается из школы мама, и раздаётся с дороги дедушкино благодушное похмыкивание, в комнаты одна за другой возвращаются на свои привычные места все до единой безмолвные участницы и помощницы нашей всегдашней жизни, — столы, стулья, кровати, всё-всё, наконец, и свежие рядна, просохшие на солнце, вытряхнутые от пыли. Старые рядна, которые испаковали немцы, когда пожар в танкетке гасили, куда-то бабушка сразу выбросила. И до чего приятно ступать босыми ступнями то по чистому полу, то по чистым, тёплым ряднам, приближаясь к своей свежезастеленной кровати.

ТАРАС

Есть, оказывается, в нашей хате такие углы и пространства, о существовании которых я, при всём своём любопытстве, узнаю лишь нечаянно. Сколько раз пробегал-проходил по короткому коридору, — то на улицу, то с улицы — мимо какой-то невзрачной двери и не догадывался, что за нею — кладовка, а под ней ещё и подпол.

И вот тёплым осенним вечером вижу: из тёмной этой кладовой выкатывает дедушка на двор неохватной толщины бочку, и слегка крикнув, ставит её на попа.

Кажется, два или три дня назад я уже видел её перед хатой. Но она стояла не одна, а в соседстве с другими бочками и не показала такой громадной, как сейчас, когда мне пришлось быстро от неё пятиться по коридору. Из её гулкой порожней глубины ворчало что-то басом: раз-дав-лю-у-у!

А тогда бабушка носила вёдрами воду, выливала её в бочки и смотрела, не польётся ли из щелей. Если польётся, объяснила она мне, значит, дубовые клёпки рассохлись, и нужно, чтобы вода в бочках постояла, и тогда дерево снова разбухнет, само закроет свои щели. Я смотрел на эти тёмные, сочащиеся трещинки между рёбрами, ожидая, что потёки вот-вот исчезнут, но быстро устал от такого ожидания и куда-то отлучился. Может быть, привлекло меня квохтанье курицы, которая на радостях громко докладывала всему куриному селу, что опять снеслась? Для меня ведь такое происшествие тоже было немаловажным. Я уже знал, что многие наши куры забираются нестись в норы, вырытые ими под горой сухих стволов подсолнуха, и наловчился, просовывая руку поглубже в тайники, извлекать то одно, то другое ещё тёплое яичко. Бабушка часто поощряла такую расторопность моей же находкой, в жареном или варёном виде.

Вот что!.. Все те бочки и бочки тоже были, значит, из кладовки и даже из подпола, но я не видел, как их выносили и вносили назад, потому что, наверное, на ту пору спал.

А сегодня, хотя свет вечерний уже неумолимо сменяется сиреневыми сумерками, разве уснёшь! Я же чувствую по какой-то особой размеренности, даже торжественности дедушкиных движений, по его похмыкиваниям в нос: предстоит что-то по-настоящему важное. Ну, как пропустить?

Приладив под бочку какие-то дощечки, чтоб она стояла ровно, не шатаясь, он спешит в ту же кладовку и, вижу, выносит, оперев на живот, обхватив снизу руками, какой-то тяжёлый деревянный короб с изогнутой металлической ручкой на боку.

— А ну, поможить... поставыты... прэсс! — прерывающимся голосом подзывает он бабушку и маму. Женщины мгновенно оказываются на подхвате, и вот уже короб, или, как он его только что назвал, “прэсс”, чуть не с грохотом нахлобучен сверху на бочку. Дед в задумчивости пятится, будто

хочет со стороны оценить всё целиком сооружение. Пячусь и я заодно, да как-то неловко и едва не усаживаюсь во что-то мягкое, тёплое.

Корзины! Я же видел, как днём на подворье привозили тачками с нашего виноградника эти заполненные с горбом корзины. Когда их за ручки опускали на землю, корзины поскрипывали и покряхтывали, будто сами испытывали удовольствие: смотрите, люди добрые, вон сколько в нас уместилось гроздьев, большущих, спелых!

И дед Захар сказал, стоя над корзинами:

— А шо?.. Добрый уродився тарас!

Знаю, есть в хате нашей Тарас. Он висит на стене, над календарём: лысый, усатый, в кожухе нараспашку. И я замечал: дедушка иногда поглядывает на усатого дядьку и негромко, будто с укором, ему говорит: “Эх, думы мои, думы мои...”

А это что за Тарас?

— Виноград такой: тарас, — подсказывает бабушка. — У молдаван купылы лозу. То такой сорт. А е лидия, е изабэла.

Какая ещё лидия, какая изабелла? Наш тарас лучше, — решаю я про себя. Это сколько же корзин! Выходит, мы будем его есть вместо хлеба, вместо всего остального, есть всю осень, и на всю зиму хватит... А что не съедим, то бабушка отнесёт на горище, и у нас будет много-много изюма.

Каждая круглая ягода покрыта сизой поволокой. Чуть её сотрёшь, а тарас-то вон какой — тёмно-синий, до черноты. Как ночь. И сладкий, почти горячий от солнца. Только умей отплёвывать косточки, чтоб не хрустели на зубах. Можешь съесть целую большую гроздь, разве кто попрекнёт? И ты уже сыт. И уже без жадности любишься всеми-всеми, а им и счёта нет. Прижмурься, и померещится: гроздь — это великое множество чьих-то очей, они тайно помаргивают про что-то своё, но не страшное. Или покажется: гроздь тараса — мужские кулаки, набрякшие упругой синей силой. Но есть в корзинах и маленькие кулачки, чуть больше моего...

Дед Захар светлеет рубахой в сумерках, закатывает рукава по локоть, окунает растопыренные пальцы в корзину, ту самую, в которую я чуть не угодил, вырывает из неё большой ком гроздьев, кидает в широко раскрытую и, как различаю теперь, зубастую пасть ящичка-пресса. Что-то бормочет про себя, мелко крестится.

И, чуть накренившись вперёд, медленно, натужно начинает вращать ручку... Из давилни вырываются всхлипы, хруст, чавк, треск лопающихся виноградных кистей. Затем что-то глухо ударяет о тёмное дно.

Из сумерек выплывают лица всех наших — бабушкино, мамино, тётки Лизы, а между ними и радостное Тамаркино. От разных корзин наперегонки подносят гроздь к зеву давилни. А дедушка, расставив для упора ноги, всё крутит и крутит рукоятку с той же натугой, и сок уже поёт в бочке беспрерывно, и шлёпаются вниз комья раздробленных ягод.

— Тарррас... тарррас! — трещат и хрустят кисти в челюстях пресса.

А я что же? И мне дайте!

Держу тяжёлую гроздь в вытянутой руке, привстаю на цыпочках, но до края ящичка никак мне не дотянуться. Кто-то подхватывает меня сзади подмышки — бабушка? мама?

— Тильки руки не сунь туды — видгрызэ!

В чавкающую пасть полетело и моё приношение, но руку тут же отдёргиваю от края раструба.

Опустошённые корзины катятся к кусту сирени, в темноту. Нечего им мешаться под ногами.

И мы с Тамаркой, чтоб не мешать взрослым, отходим к хате, прислоняемся к тёплой стене. Слышим, как воробьи или ласточки шевелятся в своих гнёздах под стрехой, уютно попискивают, приготавливаясь ко сну. Уже поздний вечер, в такую пору нас тоже всегда отправляют спать. Но сегодня слишком важное что-то происходит, и нам разрешено оставаться со всеми.

— Дид сам вси бочки зробыв, — негромко говорит Тамарка.

— Знаю...

— И обручи з железа сам склепав, — добавляет она.

— Знаю, — шепчу я и краснею, потому что совсем не знаю, что такое обручи. А потому спешу первым сказать и про другие умения дедовы. — Вин сам и косой косыть, и чоботы шьё, и гвоздочки дэрэвянни вбивае, и... и лозу ножнычками стрижэ, бо вин у нас... мастер.

И тут же спрашиваю:

— А що там будэ — у бочци?

— Нэ знаеш? — смеётся Тамарка. — Вино будэ. Выпьешь кружку и будэш пьяный-пьяный, дурный-дурный.

И она, с улыбкой закрыв глаза, что-то бормочет, покачивается и оседает на корточки, показывая, какой я буду дурной.

Мне такое кривляние не нравится, я про себя начинаю на неё сердиться. Но одумываюсь: сердиться — тоже дурасть.

Загустевает вечер, наливается горьковатым настоем дыма, что слюится вдоль села. Большие золотые листья в задумчивости опускаются с ветвей грецкого ореха. Земля вдыхает их терпкую свежесть. Фиолетовая темень подступает к нам. Но стена хаты всё так же белеет, будто отдаёт ночи впитанный за день свет.

Нас подзывают. Идём, взявшись за руки, наощупь, чтоб не споткнуться о какую-нибудь корзину.

Пресс уже снят. Бочка доверху заполнена вкрадчивым шорохом. Что-то там большое, тёмное дышит. И вся внешняя мгла полнится загадочным шевелением.

Дедушка запускает за край бочки черпак, осторожно отгребает гушину в сторону, — и вот посудина перед нами: тяжёлая, полная доверху.

Тамарка отказывается пить первой, хотя она старшая. Я тоже отказываюсь, но совсем неуверенно. Дедушка решает в мою пользу:

— Нэхай малый посье.

После трёх больших глотков я передаю липкую тёплую кружку Тамарке. Потом она мне возвращает, и снова я ей.

Но блаженство насыщения этим ещё невинным тёмным млеком земли так полно, так всевластно, что я, кажется, в тот же самый миг и засыпаю, прямо здесь, стоя на ногах.

ДЕНЬ БЕСКОНЕЧНЫЙ

Светлая гибкая лента дороги, что из нашей сельской долины легко и вольно взлетает на зелёную гору... Я теперь уже знаю: она не обрывается сразу за краем земли. Она так же светло хочет пролиться куда-то дальше. Раным-рано за гору ушла пешком мама.

Я уже и позабыл почти тот хмурый сырой день, когда отвратительной мохнатой гусеницей уползало за край земли чужое войско. В тот день и гора была какой-то бурой, тоскливой, без единой травинки. И дорога — чёрной, вязкой, в слякотных колёсных следах.

Нет же, дорога, которой я люблюсь сегодня, чиста и светла, будто никогда ничто мерзкое к ней не прикасалась. Эта дорога, сколько я себя помню, была всегда, и всегда мягко проплывало над нею солнце. И она всегда мне нравилась своим одиночеством. Но этим утром мне не просто нравится видеть её гибкий взлёт наверх, я неотрывно люблюсь её светлой, как льняная холстина, лентой. Мама ушла по ней раным-рано, когда я ещё спал. И теперь она вернётся с горы, но уже не одна.

Так бабушка сказала, когда я вышел из хаты и подбежал к уличной печке, у которой она варила что-то вкусное, пахучее в двух больших чугунах. Впрочем, я тут же и забыл расспросить, что такое она готовит, потому что она сказала про маму и про её путь до Чубовки, где она встретит моего отца.

— Сядь и дывысь на дорогу.

Краткого повеления мне было достаточно, чтобы усесться за столик и, кажется, целый час неотрывно смотреть на дорогу, ожидая, когда на самой верхней кромке светлой ленты появятся *они*. И тогда я тотчас окликну бабушку и побегу в мастерскую предупредить деда Захара.

Но дорога оставалась безлюдной.

Я начал недоумевать. Что это за Чубовка такая, до которой должна дойти пешком мама? Почему она ушла одна, не взяв с собой и меня? Разве я не заберусь вместе с нею на гору? И разве и дальше не буду идти, не отставая, сколько бы ни понадобилось. А сидеть и ждать так долго на одном месте — разве легче?

И я не выдержал. Отступил с бабушкиных глаз за куст жёлтой акации и побежал в мастерскую. Надо у деда спросить, где эта самая Чубовка, долго ли идти до неё и назад.

Но в мастерской неуютно и пусто. Даже инструменты издают скучный запах, будто сразу начинают ржаветь без своего хозяина. Наверное, дед Захар с утра работает в колхозе.

Высунув голову из открытой двери на двор, я тотчас же цепляюсь глазами за дорогу. Она всё такая же светлая. И такая чистая, что хочется огладить её взглядом. Но она по-прежнему пуста. Тогда я вскарабкиваюсь по нашей лестнице-драбыне на дощатый настил между чердаками хаты и коровника — моё привычное смотровое место, откуда дорога на гору видна как на ладони.

До чего же здорово мне бывало сидеть здесь, свесив ноги с дощатого настила, выматривая, не бежит ли в нашу сторону Тамарка. У меня сердце всегда начинает стучать звонче, когда на тропинке из-за зелёных всходов конопля взмелькивает её золотистая чёлка. Но сейчас и появление Тамарки меня бы не порадовало. Я жду иной, куда большей радости. Хорошо ей, Тамарке. Её отец, дядя Ефим Кущенко, уже вернулся в свою хату с фронта. Его отпустили домой из-за раны, и он недавно своим глухим басом, будто извиняясь, говорил нам с мамой, что если бы не эта его круглая, величиной с яйцо, вмятина на макушке головы, то он бы тоже, как и мой отец, ещё оставался на фронте.

Когда же он кончится, непонятный фронт, если войны, говорят, больше нет? Все вокруг так говорят: всё, её больше нет. Прошлой осенью, когда она ещё продолжалась, но уже где-то так далеко от нас, что ни единого грома снарядного уже не было слышно в Фёдоровке, бабушка водила меня на майдан, на площадь посреди села, и все мы, и я тоже, сушили там табак для фронта.

Майдан встретил нас самым крепким, какой бывает к середине лета, солнцепёком. Всё как будто плавилось и слоилось вокруг — крыша длинного колхозного правления, горячие лица женщин — молодых, пожилых, совсем девчонки. Столько вокруг было смеха, крика, гомона, пёстрых светлых сорочек, что невольно хотелось прижмурить глаза. Лишь через минуту, другую начал я соображать, что же тут, на широченной площади затеяно.

Посередине майдана торчит крепко вкопанная в землю жердина, и от неё во все стороны, ну, прямо как лучи от солнца, протянуты на высоте моей головы, а где и повыше, длинные-предлинные верёвки, но не толще той, из которой дедушка Захар мастерил когда-то дратву. И на каждую верёвку сушильщикам нужно длинными острыми шилами нанизывать один за одним большие табачные листья. Эти листья подносят в плетёных корзинах, только вынимай да протыкай шилом, да сдвигай к середине — к тому самому столбу, что торчит над всем этим хороводом.

Я быстро теряю из виду бабушку. Где теперь взмелькивает над пахучими табачными развесками её светлый в синюю крапинку платок? То различил было, а то снова не могу найти и нашу тётю Лизу с её золотыми серьгами в ушах. А Тамарка? И она должна быть где-то на площади.

— А цэ що за хлопчик такий ледащий? У всіх діло, а він стоить і гавы ловыть? И нэ соромно тобі? — смеётся надо мной молодая женщина с корзиной листьев при бедре. — Чий же ты будэшь?

— Бабы Даши и дида Захара, — хмурюсь я. Что это она взялась меня срамить?

— А-а, так ты — сынок Тамары-учительки?.. Чуєте, дивчата, його батько на фронті, за нас за всіх нимця бє, а він? Хіба ж ты нэ хочешь своему батькови послаты на фронт табачку?

— Да чога ты до нёго прыстала? — громко защищает меня другая молодая тётка, с крупно-белыми в улыбке зубами. — Станэ той Миша курыты якись тютюн. Вин, кажут, вже офицэр и “Биломор” курить.

— Дивчата, будэ вам шуткуваты! Дайте хлопчику шило, нехай и вин працое.

И мне уже откуда-то протягивают в правую руку шило, а левую без всякой подсказки достаю из ближайшей корзины большой чуть влажный лист табака. Что, разве и я не сумею? Тютюн — он и есть тютюн. Можно даже две лопушины разом проткнуть, и ещё, и ещё, по одному листу, по два. А дальше? Дальше уже кто-то из девчат помогает сдвигать целый пук моих листов ближе к жерди.

— Ой, Миша, валегоцуловский той Миша! Якого ж хлопця наша Тамара до сэбэ прыгорнула, э-эх! — громко вздыхает ещё одна молодича.

— А ты, разява, чога ж нэ прыгорнула?.. Чи рук в тэбе и титэк мало? — толкает её локтем в бок соседка.

— Да титэк в мэнэ повни пазухи... Але руки вид того табака дужэ чорни. И все снова смеются.

А я так увлекаюсь нанизыванием табачных листов, что не замечаю, как подходит бабушка Даша. Она, вижу, сердита на девчат из-за таких шуток. Но при этом явно довольна моей первой работой в колхозе.

— Ось куды вин заховався, — вдруг окликает она меня снизу. Я вздрагиваю от неожиданности. Она стоит под лестницей и держит в руке что-то белое.

— А ну, злазь да одинь чисту рубашку и новеньки штанцы.

Неужели она первая увидела, что идут? И потому мне нужно срочно переодеться? Я лихорадочно озираюсь на гору. Нет же! Гора до того безлюдна, что ни единого следочка не различить. Но всё-таки повеление бабушки меня как-то встряхивает. Я быстро спускаюсь по жердинкам вниз.

Пока она помогает мне переодеться в свежую прохладную одёжку, самое подходящее время, чтобы хоть что-то ещё расспросить про эту непонятную мне Чубовку. Долго ли нужно маме идти до неё?.. И почему не пойти было в Мардаровку? Ведь мы с ней недавно уже ходили туда пешком и шли долго-долго, чуть не полдня, чтобы маме немного прибраться в пустой хате, где жила покойная бабушка Таня.

Помню, в Мардаровке, в тот же самый день мама повела меня в хатку к какой-то почти слепой старухе. В комнате её было так темно, что среди бела дня мы должны были сидеть за столом при свече, и эта странная бабка что-то бормотала маме, а мама, как мне показалось, то и дело порывалась заплакать от страха. В трясущихся костлявых руках старухи мелькали картинки с чёрными крестиками и какими-то чёрными редьками, с красными кубиками и сердечками, с головами красивых бородатых стариков, молодых бравых усачей и необыкновенно красивых глазастых женщин. Иные из картинок она как-то из-под ладони выщёлкивала на стол — поверх тех, что уже лежали тут, — и что-то при этом шипела беззубым ртом. Под конец она собрала все картинки вместе и сказала маме: “Нэ бийсь... Возвернется твоя пропажа... Моя карта правду кажэ...” Мама глубоко вздохнула и, когда мы, наконец, встали, чтобы уходить, положила бабке что-то в руку. Когда же вышли на двор, тотчас сказала мне взволнованным шёпотом: “Тильки никому не кажи, дэ ты був и що бачив...Чуешь? Никому”. И я с тех пор, как вернулся в Фёдоровку, никому не сказал и не говорю ни слова — ни бабушке Даше, ни Тамарке...

— Мардаровка, — сообщаю я бабушке, — тоже станция. Там тоже поезда останавливаются. Так почему мама в Чубовку пошла?

Но бабушка Даша продолжает придирчиво оглядывать меня со всех сторон, будто проверяя, впору ли пришлись мне обновки — рубашка и штанцы. И при этом строго молчит. Лишь напоследок отвечает что-то невнятное. Сама она, оказывается, никогда в эту Чубовку не ходила. Она знает лишь, что в Чубовке остановится поезд, которым прибудет мой отец, а через Мардаровку он проедет без остановки. А когда прибудет в Чубовку тот поезд, — утром, днём или вечером, кто ж его знает.

Я вздыхаю. Значит, надо нам ещё ждать.

Но сидеть всё время на солнце возле кутуни или на моей смотровой площадке и смотреть неотрывно на спуск с горы мне уже невмочь. У меня начинает звенеть в ушах, я слоняюсь без толку по двору, захожу в хату, разглядываю мамин учительский столик. На нём теперь не видно стопки тетрадок, потому что летом дети не учатся. У нас уже июнь. Одна чернильница скучает.

Мама уже не раз показывала мне фотографии и конверты с письмами, пришедшие с фронта. Одна фотография, на которой прямо на нас смотрит мой отец, в кителе с погонами, а на погонах четыре звёздочки, а на груди две медали, — и маме, и мне сразу особенно понравилась. И она не раз уже читала мне слова, написанные на белой оборотной стороне:

*На память моим
Тамаре и Юрику.
Мих. Лоциц*

*Январь 1944 г.
Снимок декабря 1943 г.*

— Декабрь... Январь... — шептала мама имена месяцев и вздыхала. — Тоди у нас ще стоялы румуны и нимци. А батько твий пише: жди...

И читала ещё две строки, написанные на той же стороне, на самом верху:

*Жди меня, и я вернусь —
Только очень жди...*

Я так и решил про эти слова, что отец очень и очень просит нас ждать его. Хотя он, когда пишет своё письмо, ещё не знает о нас ничего, но обещает вернуться, лишь бы и мы крепко ждали.

Мама не оставила фотографию и письмо на своём столике, а куда-то спрятала, как и другие, которые пришли после того письма, самого изо всех первого.

Я опять вздыхаю. Надо ждать. Надо идти на наше подворье и глядеть без устали, пока глаза не начнут болеть, на светлую дорогу посреди зелёной горы.

Бабушка предлагает мне поесть там же, за столом возле кутуни, — ещё горячих румяных оладушек с кислым молоком, только из погреба. Но я отказываюсь. Ничего мне теперь не хочется в рот брать, — ни этих душистых оладушек, ни белого, присыпанного сахарным песком молочного киселя, разлитого по большим плоским тарелкам, которые тоже отлёживаются в погребе, ни пригоршни только что поспевшей золотисто-розовой черешни.

Даже дорога и гора выглядят совсем не так, как утром. Они тоже устали от ожидания. Вдоль горы, как раз напротив нашей хаты, проступили морщины от коровьих и овечьих троп, по которым череда, как и всегда, возвращается вечером в село. Коров пока не видно, но морщины уже напряглись, и тень от какого-то бугра ложится поперёк ленты безлюдного просёлка.

Тогда я пробую для себя только что придуманную игру. Над отвернуться от горы, сесть к ней спиной и смотреть на что угодно: на тёмную листву вишен, в тени которых наливаются красным соком ягоды; на слоистый прозрачный жар из печной трубы, на бурую кошку прошлогодних стволов подсолнечника, которыми бабушка топит печь; на цветы жёлтой акации... Даже пчёлы и шмели устали копошиться в них... Но если я просижу так долго-долго, а потом резко оглянусь, то в тот же миг и увижу. И прокричу: иду-у-ут!

Так громко закричу, что даже Тамарка расслышит на своём дворе и тут же прибежит порадоваться вместе с нами.

И я враз оглядываюсь...

Ни-ко-го!

Сердце опускается во мне куда-то в пустоту.

Но нет, надо ещё раз отвернуться.

И ещё — пока не посетит догадка: те, кого ждёшь — не дождёшься, ни за что не придут, если ты такой нетерпеливый. Вот если бы ты отвернулся

и насовсем забылся и занялся чем-то совсем-совсем другим, тогда... Но что-то не получается у меня совсем перестать ждать, и я забрасываю неудавшуюся игру.

Вот, наконец, и дедушка воротился из села. Может, какие-то новости разузнал — про ту же Чубовку, про тот поезд? Ведь он когда-то в молодости, ещё до женитьбы, как сам об этом рассказывал, год или два служил на железной дороге, ходил по вагонам, проверял, у всех ли есть билеты. Но сейчас даже в его покашливании и пыхтении в усы мне слышатся какое-то огорчение, какая-то усталость.

— Попый водычки, — предлагает мне бабушка Даша. Она пришла от колодца с двумя полными вёдрами и рассказывает дедушке: — Цильый дэнь сыдзь на сонци... Запалывся.

Но оттого, что они жалеют меня, совсем не становится легче. Наоборот, мне так хочется разреветься. Мне чудится, что на гору, на всё село вместе с вечерними тенями опускается какая-то беда. Ну, зачем мама моя раным-рано ушла непонятно куда? Может, тот поезд не остановился? А если остановился, то никто из него не вышел, ни один человек не спустился по ступенькам... Они не придут... И она где-то там сидит за откосом железной дороги, и прикрывают в чёрном дыму и копоти чужие, как в Мардаровке я видел, поезда, на миг останавливаются или с грохотом проносятся мимо, и у неё нет больше сил ждать и нет сил идти к нам сюда одной.

Не хочу я никакой воды. Слёзы душат меня. Мне хочется запрятаться куда-то со своим невыносимым горем. Я плетусь в хату, на ощупь добредаю в полутьме до кровати в маленькой комнате. У меня нет даже сил, чтобы снять с себя новые рубашку и штанцы. Разве мне самому они нужны?.. Мама, зачем ты ушла сегодня раным-рано? Зачем мы понапрасну ждали так долго?.. Бабушка, дедушка, зачем всё было?..

— Чуешь?.. Вставай... — Это бабушка Даша тормошит меня за плечо. — Воны йдуть... Чуешь?.. твои батько и маты йдуть...

Я вскакиваю, несусь на слабый свет сумерек — в раскрытую настежь дверь.

Кто-то совсем близко. Чьи-то тихие шаги по земле. Медленно, будто во сне, выплывают двое из тёплой мглы, поднимаются по тропе мимо куста сирени. Мама в светлом платье, и её поддерживает под локоть он — в военном, без фуражки. Лечу, ног не слыша, с разгону прыгаю ему на грудь. Прижимаюсь к щеке, скуле, уху, горячему рту. Почему-то я вмиг догадался: это он, только таким и может быть мой отец!

Его лучащиеся лаской глаза, тонко выбритые щёки, распахнутая для объятия грудь, твёрдые пуговицы кителя, светящиеся тёмным золотом погоны, чудесный запах, исходящий от их тончайших волокон, — всё это он, мой единственный на весь свет, мой родной, с крепко бьющимся сердцем, в прекрасной плоти воина.

Но почти тут же его оттесняют от меня, потому что отовсюду на свет лампы, вынесенной из хаты, уже сходится, сбегается из тьмы вся-вся наша родня, чуть не целое село... Смеются, плачут, накрепко стискивают в объятиях, поздравляют маму... И дядя Ефим тут с тётей Лизой, и Тамарка моя лучезарная, и дедушкин брат Виктор, его жена Поля, братья и сёстры Дзюбенки, соседи, соседки, куча мала детворы...

Лишь на какой-то миг отец прорывается ко мне, чтобы ещё погладить по голове, подержать за плечи, на руки поднять и тут же, будто спохватившись, вытащить из походного чемоданчика и вручить подарки: большую плоскую коробку конфет и губную гармошку в восхитительно ярком футлярчике.

Тотчас меня облепляет затаившая дыхание малышня. Кто-то зачарованно шепчет:

— Ты дывысь, конфеты...

— Ого, шоколат...

— А яка гармошка!..

— Трофейна?..

Мы разглядывает и общипываем коробку, принохиваемся к её небывалому запаху. Но долго разве можно удержаться? И вот, пока взрослые рассаживаются за столы, гремят посудой, звенят стаканами, у нас всё затевается пируество. Под общее восхищённое “ох-х!” распахнута коробка, и из внутренностей её посверкивающего в ночи ребрастого ложа на нас изливаются волны головокружительно сладостных ароматов. Обмерев от неожиданности, мы робко замолкаем. Никто не решается первым притронуться к тёмным округлым подушечкам шоколадных див. Так проходит несколько томящих мгновений. Но раз уж все принимаются шёпотом подбадривать меня, протягивая руку первым. Каждому понятно: это моё право. Но незримая чья-то сила ведёт моими пальцами, и первую конфетину я поднимаю к полуоткрытому рту Тamarки.

— Ни-ни, — улыбается она благодарно, отмахиваясь от меня чёлкой.

— Йишь! — настаиваю я твёрдо, как и положено, должно быть, сыну офицера. — И вси — йишьтэ!

Фёдоровская детвора не кидается к коробке, распахивая тех, кто неловок или слишком застенчив. Наша малышня самым бережным, самым сдержанным способом приступает к облизыванию, пробованию на зубок и неспешному вкушению яства, принесенного приятнейшим ветерком то ли из какой-то загадочной Риги, то ли из какого-то Таллина, который и сам, кажется, не прочь бы растаять у нас на губах. И, удивительное дело, шоколадок в коробке почти не убьло.

Тут, напоминая разомлевшему обществу о втором отцовом подарке, я достаю из-за пазухи чудесный футлярчик. Гармошечка в руке на вес тяжёленькая, но при этом какая-то забавно-воздушная.

— А кто вмие?

Умелец находится мгновенно. Кажется, это один из хлопчиков, в сопровождении которых я весной бегал смотреть за край села порожнюю фашистскую самоходку. Он прикладывает губы к узкой, слегка загнутой вовнутрь стороне инструмента и делает слабый выдох. Гармошечка прытко скользит в его руке вправо-влево, и рассыпает лёгенькие рулады, похожие на первые пробы спевок у петушков.

Вдруг из раскрытых окон хаты выкатывается дружный взрыв смеха. Мы догадываемся, что он явно вызван стараниями нашего гармониста, и тотчас отвечаем большому застолью самым звонким детским визгом.

— На, грай сам!

И вот уже я дую изо всех сил, и звуки то вниз тянут, то вспрыгивают на тоношенький верх, озадачивая, должно быть целый мириад наших невидимых сверчков, зачарованно и неустанно поющих свои скромные гимны звёздам.

Ночь отлетает так стремительно, будто и не было её, а длится над всеми нами один бесконечный день, и мы с Тamarкой в его молодых лучах блаженствуем в маленькой моей комнате у порожней, но всё равно чарующе ароматной конфетной коробки и всё ещё по очереди пробуем губами гармошечку. На ней успели подудеть все, кто хотел, и потому из её отсыревшего от слюны нутра вместо бойких звучаний с трудом вырываются теперь какие-то простуженные хрипы, побулькивания, а то гусиный шип или самый жалобный цплячий вописк.

— От, добрэ гралы, — благодушно пыхает в усы дедушка Захар.

Нас зовут за стол, и он такой обильный, будто здесь ничего ещё с минуты возвращения отца не вкушали. Все готовы поднять стаканы, рюмки. Лишь отец, весёлый, в белой рубахе, вдруг скашивает глаза в мою сторону и неожиданно строгим голосом спрашивает:

— А это что такое?

Острым глазом он видит, что передо мной на столе краснеет маленькая стопочка, наполовину наполненная кисленьким терпким вином дедушкиного изготовления.

Бабушка, уловив смысл его удивления, улыбается:

— Та воно ж малэньке... Нэхай и воно трошечки выпше... Батько ж вэрнүвся з вийны.

— Нет! — произносит отец решительно. — Ещё рано.

И все примолкают на миг. Никто не возражает. Не потому, что он их раздосадовал. А потому, что всем становится ясно: раз отец вернулся, теперь его власть, и потому пусть теперь для сынка его воля родительская будет путеводной.

Я не дююсь, не ропщу. Подумаешь, вино! Я ещё и не различаю его вкуса. По мне оно несколько не вкусней, чем глоток свекольного темно-красного кваса, который бабушка подносила нам с дедом из погреба, когда он отламывал от сухих высоких стволов початки спелой кукурузы, а я складывал их в корзину. И сладкий виноградный сок прямо из бочки, в которую он осенью отдавливал гроздьё “тараса”, куда, по мне, вкусней, чем это кисленькое, что так и останется мною не тронутым.

Лишь много лет позже я буду в шутку рассказывать друзьям, что первый раз в жизни бросил пить вино шести с половиной лет от роду. И на недоуменные вопросы отвечать: “Потому что такова была воля пришедшего с войны отца”.

Но вот ещё одно событие того бесконечного дня, самое для меня и по сию пору столь необыкновенное, что иногда кажется: не привиделось ли?..

Через три или четыре часа после утреннего застолья...

Все мы вдруг, будто по воздуху перенесясь, оказываемся в нашей дубовой роще. Но не на её ближнем к селу краю, где я как-то под вечер помогал бабушке Даше собирать жёлуди в торбу. Нет, мы где-то в самой середине великого леса, на раздольной поляне, у белых холстов с едой и вином. Только никто не приляжет, никто не садится на траву у этих белоснежных холстин. Все стоят большим, но не тесным кругом. И все в белом, чистом, лёгком — мужчины, женщины, мы — дети. Мы как будто собрались на место, где всегда собираться любили и раньше. И потому разведён костёр из сухого дубового хвороста, он не чадит, а лишь чуть потрескивает, и дым его благоуханен, и пепел светел, хоть окунай в него руку. Или это благоухание исходит от высоких дубовых крон, пропускающих на поляну полупрозрачный свет? Мы будто все вернулись сюда, — после холода и голода, после страхов и грохота обезумевшего железа. Вернулись посмотреть друг на друга, произнести негромкие добрые слова, поднимая перед собой белые струящиеся, как дымы, рукава рубашек и сорочек...

От прилива радости я почти уже не различаю лиц: где отец с мамой, где дед Захар и бабушка Даша, где тётки мои Лиза и Галя, где ты, светлая Тамарка? Мне видится, что в этом же кругу рядом со всеми — и те, кто не дожил до этого дня, — бабушка Таня, тоже во всём светлом, и дед Фёдор в светлой армейской рубахе, и прадеды мои Константин Лоциц, и Максим Степанюк, и Иван Грабовенко, и Яков Лагуна, — тоже в белых рубахах. Просто мы все вернулись в день возвращения, — пусть не навсегда, пусть только на час — в этот святой лес...